

• ИРИНА ПОТАНИНА •



ФУУМ
НА
Бурсацком спуску

FOLIO

ХАРЬКОВ 1930

Ретророман

Ирина Потанина

Фуэте на Бурсацком спуске

«Фолио»

2018

УДК 821.161.1(477)

Потанина И. С.

Фуэте на Бурсацком спуске / И. С. Потанина — «Фолио»,
2018 — (Ретророман)

ISBN 978-966-03-8159-9

Харьков 1930 года, как и положено молодой республиканской столице, полон страстей, гостей и противоречий. Гениальные пьесы читаются в холодных недрах театральных общежитий, знаменитые поэты на коммунальных кухнях сражаются с мышами, норвящими погрызть рукописи, но Город не замечает бытовых неудобств. В украинской драме блестяще «курбалесят» «березильцы», а государственная опера дает грандиозную премьеру первого в стране «настоящего советского балета». Увы, премьера омрачается убийством. Разбираться в происходящем приходится совершенно не приспособленным к расследованию преступлений людям: импозантный театральный критик, отрешенная от реальности балерина, отчисленный с рабфака студент и дотошная юная сотрудница библиотеки по воле случая превращаются в следственную группу. Даже самая маленькая ошибка может стоить любому из них жизни, а шансов узнать правду почти нет...

УДК 821.161.1(477)

ISBN 978-966-03-8159-9

© Потанина И. С., 2018

© Фолио, 2018

Содержание

1	6
2	17
3	27
4	38
5	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Ирина Потанина

Фуэте на Бурсацком спуске

© И. С. Потанина, 2018

© Е. А. Гугалова, художественное оформление, 2018

© Издательство «Фолио», марка серии, 2015

* * *



**ЗИМНИЙ ХАРЬКОВ, НИКОЛАЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ,
НАЧАЛО 1930 ГОДА**

В воскресенье, 16 февраля 1930 года, Харьков весь день засыпало снегом.

Драли втроедорога не жалеющие лошадей извозчики. Деловито щупали фарами путь редкие авто. Обледеневший внутри и снаружи спецтрамвай, опустив забрало и отчаянно визжа, расчищал рельсы Пушкинской, заодно подвозя ближе к театру горстки благодарных попутчиков. Матерились, но упрямо шли к цели недовольные саботажем погоды начальники. Скользили по протоптанным ими тропам обрадованные негородской белоснежностью романтики. Со всех сторон столицы, нервно заслоняясь от снега или счастливо подставляя ему лицо, оживленно переговариваясь или тихонько нашептывая что-то нежное, толпой, парами или поодиночке почтенная публика пробиралась к Национальному театру оперы и балета.

Долгожданная премьера должна была состояться при любой погоде.

1

Погодите оценивать! Глава, в которой всё выглядит не тем, чем является



Тремя часами ранее директор вышеозначенного театра громко ругался на крыльце служебного входа. Надпись «День открытых ступней» на афише, а также плакатное «Культурный отдых нам всегда множит силы для труда» по стойкому убеждению страдальца должны были свести его в могилу. И это он еще не заметил сюрреалистичную растяжку на окнах: «Рев ревбалета – наша сила! А лебедей – на мыло!»

– Диверсия, – спокойно констатировал главный художник. – Причем, товарищ Рыбак, диверсия с вашей стороны. Это вы привлекли к оформлению служебных помещений невесть кого.

– Ох, да! Ох, да! – хватался за голову директор. – Но что мне было делать? Не мог же я в канун премьеры переключать вас на украшение какой-то про-хо-дной... Вы, товарищ Петрицкий, сценограф, а не про-хо-димец, – внезапный каламбур немного примирил директора с действительностью. – Вот почему я могу талантливо играть словами, а они – нет? В городе полчища литераторов, мы вон целый дом отгрохали и ими заселили...

– Еще не заселили... – все так же флегматично протянул художник. – Котлы отопления не готовы. И, пардоньте, что значит «мы отгрохали»? Партия, конечно, помогла, но все владельцы квартир дома «Слово» в ходе строительства исправно платили паи, причем немалые...

– Простите, – перебил директор совсем не извиняющимся тоном, – я забыл, что вы, Анатолий Галактионович, тоже из этих «словян». Кстати, почему? Вы ведь художник... А, да, паи... В общем, передайте будущим соседям, что во всей столице не нашлось текста для нормального театрального плаката про День открытых дверей.

Сегодня в театре проходил эксперимент. По образцу московского Большого и по совету приехавших оттуда коллег (то есть в совершенно обязательном порядке) перед премьерой балетного спектакля проводились «открытые танцклассы». Любой желающий мог зайти в театр

со служебного входа и посмотреть, как занимаются танцовщики перед спектаклем. Задумывалось это как еще один шаг искусства к массам. Но все пошло не так. Все! От противоречащих понятию «искусство» дурных плакатов до того, что в предпремьерной суматохе забыли кинуть клич по профсоюзам, и на танцклассы собрались лишь журналисты и вездесущие театральные завсегдатаи, которые к «массам» не имели никакого отношения. К тому же задача «сделать балет понятней простым людям» отвлекала артистов, и грандиозная премьера могла провалиться.

– Зачем? Зачем я только согласился на эти глупые нововведения? – всхлипнул директор Рыбак.

– Струсили, – невозмутимо ответил Петрицкий. – Не смогли отказать покровительствующей инстанции. С кем не бывает?

– Р-р-р! Умеете вы, Анатолий Галактионович, утешить впавшего в отчаяние коллегу, – не выдержал Рыбак. Потом поднял голову, с тоской вчитался в растяжку на окнах и чертыхнулся: – Ч-черт! Полный театр разгильдяев! Пойду убью кого-нибудь, может, полегчает...

* * *

Внутри на проходной тем временем царила куда более воодушевляющая атмосфера.

– Грандиозная идея! Легендарная! Неповторимая! – твердила публика на разные голоса. Людей пришло не так уж много, но узкая лестница, ведущая на второй этаж к танцклассам, с потоком не справлялась. Образовалась давка.

– В толкотне, да не в обиде! – авторитетно подбадривал окружающих стриженный ежи-ком мужчина с повязкой «Корреспондент» на рукаве. – Ничего! Скоро любителям балета не придется тесниться, как сельдям в бочке! Я уже видел подписанный проект! Не сегодня, так завтра город начинает строительство «Театра массового действия». – Рассказчик широко расставил руки, изображая масштабы будущего заведения. – В нем будет и театр, и кинотеатр, и даже цирк! Оперно-балетная труппа обретет, наконец, нормальные гримерные и репетиционные. Зрительный зал вместит, цитирую, «2200 человек живого зрителя»!

– Это так бездушно! – вмешался старческий голос. – Мешать все в кучу можно только в ущерб атмосфере. Гардероб оперного театра и раздевалки в цирке не могут быть одним и тем же местом! А буфет? Хотите, чтоб пирожные с балетного антракта пахли дешевой колбасой из бутербродов кинотеатра? Фи!

– Я лично, может, не хочу. Но архитектор Бекетов считает, что смешение ничего не испортит, – ловко прикрылся чужим авторитетом корреспондент. – Понимаете, дореволюционный бекетовский проект нового оперного театра старые власти откладывали-откладывали, жадничали, как могли... А новые – оп! – и подхватили. Задачу подправили согласно текущим потребностям и выставили на конкурс для доработок. Причем старика, несмотря на его в обед 70 лет и неподходящее происхождение, к конкурсу тоже допускают.

– О! Раз бекетовский проект, то я на все согласна. Мастер, бесспорно, знает толк... Но, позвольте, где же будет стоять этот новый театр?

– Да практически тут. По ту сторону Карла Либкнехта. Вместо Мироносицкой церкви. Приказ о ее сносе тоже уже подписан.

Как типичный диалог в очереди, разговор сопровождался регулярным продвижением толпы на полшаг вперед и постепенно удалялся.

– А вот церковь жаль, – пряча лицо за вспышкой, прокричал вслед переместившимся на лестницу фотограф. – Не как учреждение, конечно, а как память. Черт знает что! Только я смирился, что трамвайщики добились решения о скором сносе Николаевского собора, он вроде действительно лишает поворачивающий трамвай обзора, так теперь и Мироносицкую собираются сносить? Да город облысеет весь без куполов! – Автоматически фотограф чуть

заметным движением поправил парик. – Только представьте – промчишься вверх по Гоголя и не выйдешь к ажурным воротам с часовенкой. А если вы, пардоньте, с девушкой гуляете? Как же без лавочек для поцелуев? Где еще в центре встретишь укромное место, скрытое от посторонних глаз свисающими из-за церковного забора ветвями?

– Ну, знаешь ли, приятель! – фыркнул корреспондент уже практически со второго этажа. – Оттого, что тебе негде целоваться, государство не обязано содержать никому не нужные аварийные здания. Церковь все равно стояла бы заколоченной или открывалась бы, как Благовещенский собор, раз в месяц для концертов духовной музыки. Что за вредительство? А новый театр Харькову действительно нужен. Ломать, чтоб строить – это неизбежно. И это правильно! Тем паче, собираются ведь строить театр, а не какой-нибудь дом для партийных начальников.

Речь журналиста так понравилась присутствующим, что даже сорвала овации. Фотограф сделал пару удачных снимков и решил не возражать. Толпа довольно быстро рассосалась, переместившись в танцкласс, но проходную тут же наполнила новая партия посетителей.

– Держитесь рядом, крошки! – громко басила пожилая разряженная дама, обращаясь к двум своим спутницам весьма провинциального вида. – Тетя вас привела, тетя тут все знает, тетя вам все объяснит! – Дама решительно двинулась вперед, собираясь распахнуть небольшую дверь, расположенную прямо по курсу.

– Простите, вам туда нельзя! – Между дамой и дверью, переместившись ловким стремительным прыжком, возник высокий голубоглазый блондин с мягким голосом. – Эта дверь ведет в предбанник сцены, за кулисы. Там сейчас ничего нет. А классы проходят на втором этаже. Прошу туда! – Он указал на лестницу, где уже снова толпилось несколько человек.

Дама окинула советчика недобрый взглядом, но послушалась, резко развернувшись.

– Не будем терять время на осмотр сцены, – сказала она спутницам. – Нам нужно поскорее попасть в танцкласс. Это такой зал с зеркалами и станками, вы же понимаете? Я слышала, что сам Асаф Мессерер приехал из Москвы смотреть премьеру и проведет сегодня разминку с кордебалетом. Что? Что такое станки? Кто такой Асаф Мессерер? – Повторяя вопросы своих спутниц, она то и дело с ужасом всплескивала руками. – Поверить не могу! Вы что, серьезно? Станки я покажу, ну а Мессерер, это... Это новатор, гений, постигший все секреты мастерства, хотя начал учиться балету в том возрасте, когда балеруны обычно уже выпускаются из училища. Всего за два года этот самородок достиг такого уровня, что был принят на работу в Большой театр! И сразу внес огромный вклад в развитие советского балета!

Даму с большим интересом слушали уже не только ее сопровождающие, но и вся проходная.

– До 1922 года балет был совсем не таким, – рассказчице явно нравилось быть в центре внимания. – Тогда танцоры мало танцевали, но очень много говорили жестами. Буквально сделал пару па, потом стандартной примитивной пантомимой объясняет, что имел в виду. Например, в «Лебедином озере» мать принца выходила на сцену и вместо танца излагала речь руками: «Ты уже вырос (махала вверх), тебе двадцать лет (два раза поднимала руки с оттопыренными пальцами). Ты должен жениться! (Показывала на палец, где носят обручальное кольцо.)» На эти жесты уходило полбалета, пока Асаф Мессерер не плюнул на эти традиции и не стал вести свои партии без жестикуляции, показывая мысли и эмоции танцем. – Рассказчица сделала многозначительную театральную паузу. – И все увидели, как это должно быть, и сразу же признали верховодство нового гения.

– Ну, – вмешался тот самый голубоглазый молодой человек, – все было не совсем так гладко, но в целом вы все верно рассказали.

– Что значит «было не совсем так»? – переспросила рассказчица и, явно разозлившись, перешла в наступление. – Вы по какому праву вмешиваетесь, мальчик? Работаете в театре и

думаете, что все о нем знаете? У вас, наверное, и сертификат дипломированного искусствоведа есть?

– Нет, что вы, – «мальчик» улыбнулся. – Сертификата искусствоведа не имею.

– То-то! Охраняете дверь? Вот и охраняйте себе. А балет доверьте профессионалам! – удовлетворенно хмыкнула дама.

Тут со второго этажа, чудом просочившись сквозь поднимающуюся публику, вниз прибежала хрупкая девушка в красной безрукавке.

– Товарищ Мессерер! Товарищ Мессерер, ну что вы застряли тут? Пора начинать разминку кордебалета, потому что скоро уже придут примы. Все ждут, что вы проведете класс!

– Сейчас-сейчас! – прокричал в ответ голубоглазый. – Дайте мне еще пять минут! Так интересно послушать, что говорят люди.

Последней фразой он скорее оправдывался перед ошарашенной дамой, схватившейся за сердце, чем отвечал девушке.

– Нет-нет, вам не туда, танцклассы наверху! Нет, вам туда нельзя! Им – да. Увы, они сотрудники театра. Что? Не грубите, я вас умоляю.

Народ все прибывал, и, шутки или любопытства ради, Асаф Михайлович Мессерер еще пару минут изображал вахтера:

– О! Вам, конечно, можно, – сказал он напоследок и посторонился, пропуская убийцу к сцене.

* * *

В пространстве за случайно попавшей под опеку великого танцора дверью в этот момент тоже кипела жизнь. Управдел Воробьев тщательно изучал полы в предбаннике, пытаясь понять, насколько правдивы жалобы сотрудников, утверждавших, что там всюду торчат гвозди. Он помечал мелом опасные места и сокрушенно цокал языком. Там, где управдел уже прошелся – то есть в данный момент прямо в оркестровой яме, – орудовал молотком и гвоздодером рабочий сцены, с большим трудом стараясь не принижать заслуги Воробьева и устранять не все торчащие гвозди, а лишь те, что пометил Воробьев. На сцене, с ловкостью заправской акробатки балансируя на шатающейся стремянке, колдовала над опущенным занавесом довольно грузная костюмерша.

Беседа костюмерши и рабочего при этом носила, как обычно, отнюдь не бытовой характер.

– А, скажем, Розы Люксембург? – спрашивал рабочий и громко шлепал молотком по очередному гвоздю. – Про нее знаешь?

– Да, Женечка, конечно, – отвечала костюмерша. – Бывшая Павловская площадь. Звалась в честь купца Павлова, который в 1830 году построил первый в городе магазин с твердыми ценами. Переименована в честь зверски убитой контрой Розы...

– Кто такая Роза Люксембург, я и сам знаю, – перебил Женечка. – Я про площадь спрашивал. А, например, Пушкинская?

– Бывшая Немецкая улица. Получила название в честь первых жителей, немецких ремесленников, которых к нам зазвал Каразин в начале XVIII века. К столетию Пушкина, то есть еще до войны даже, городские власти, как чувствовали, переименовали улицу в честь поэта, – монотонно забубнила костюмерша, но вдруг решила перестроиться: – Но вы, Женечка, не о том спрашиваете. Это же всем известные факты – никакого простора для работы историка. Спросите, например, про спуск 12 ноября. Как думаете, в честь чего Советы дали спуску это название?

– Хм... – Женечка как раз столкнулся с особо вредным гвоздем, который ни за что не забивался и даже не поддавался гвоздодеру. – Честно говоря, я думал, это старое название. 12

ноября – это же День Озерянской иконы Божьей Матери, покровительницы Слобожанщины. Даже я знаю, что в этот день икону привозят в Харьков, потому что она якобы дарит страждущим всевозможные исцеления... Крестный ход к храму так и не отменили... – На этих словах он раздробил половую доску в щепки, слишком сильно стукнув молотком. Но беседу не прервал. – Я, только не говорите никому, пожалуйста, сопровождал мать и лично видел, как один крендель стоял в очереди к иконе с партбилетом и умолял, чтобы Божья Матерь помогла ему пройти грядущую партийную чистку. Но официально этого как будто нет, ведь так? К чему бы нашей партии чтить религиозные праздники?

– Еще одна гипотеза! Неплохо! – Костюмерша закончила пришивать стилизованный серебристый серп и молот к одному краю занавеса и, удивительно легко подхватив стремянку, отправилась к другому концу сцены. – Предположение довольно интересно... – рассуждала она при этом. – А еще можно вспомнить, что 12 ноября проходили выборы в Учредительное собрание – чем не памятная дата, а? Сидит себе вредитель в горсовете и переименовывает улицы в честь контрреволюционных сил. А? Или еще Дни милиции можно вспомнить. Сам праздник-то 10-го числа, но празднуют с размахом, до 12 ноября точно не просыхают.

– Хватит ерничать! – обиделся рабочий. – Скажи уж прямо, почему так переименовали? И кстати, какое было прошлое название?

– Ох, молодо-зелено! Мне сложно даже представить, что есть харьковчане, не знающие название Бурсацкий спуск. В честь бурсаков – учащихся бурсы, в здании которой находится сейчас Институт политобразования. Что же касается нового названия, то точно я не знаю, но придерживаюсь теории, что спуск переименован в честь давней забастовки паровозостроительного завода. – Она вновь перешла на интонации экскурсовода. На этот раз восторженного и разгоряченного. – Событие громкое и значимое. 12 ноября 1912 года рабочие паровозостроительного завода объявили грандиознейшую забастовку, которая длилась много месяцев и, чуть ли не первая из всех наших забастовок, закончилась победой рабочих. Все началось с того, что наши рабочие присоединились к всероссийской акции протеста против жестокой расправы над большевиками броненосца «Иоанн Златоуст», – не прекращая лекции, костюмерша переставила стремянку и набросилась на новый кусок занавеса. – Губернатор Харькова психанул и арестовал предводителей акции. Тогда-то рабочие и отказались выходить на работу. И грозного «ах так, ну значит вы уволены!» не испугались, потому что весь мировой пролетариат, оповещаемый о происходящем подпольной газетой «Правда», почти два месяца передавал бастующим средства. В итоге арестованных отпустили, а хозяева завода согласились не чинить никаких репрессий против бастовавших и восстановили всех на работе. Это была звонкая пощечина капитализму и отличная победа!

– Приветствую, Нино! – В этот момент на сцене появились сразу две звезды – солистка оперы и прима-балерина. Похожая на неспешный мощный ледокол богатырша и юркая гибкая малюсенькая лань. Контрастируя друг с другом, они казались еще ярче и еще значительнее. Говорила та, что покрупней. – Душа моя, у вас так интересно! Смотрю, не зря вы ведете эту свою секцию краеведов-любителей. Найди я время, обязательно записалась бы к вам в кружок.

– Кружок! – нервно хохотнула костюмерша. – Из ваших уст, Мария Ивановна, конечно, любое слово – золото. Но не настолько! Если бы уважаемый господин Розенфельд услышал, он, наверно, вас убил бы! – Она провела большим пальцем поперек горла и устрашающе нахмурилась. – Изначально это были изысканные чайные встречи любителей Харькова. Господин Розенфельд – ну, тот самый, совладелец кучи знаменитых доходных домов города, – коллекционировал истории, факты, легенды и все, что связано с Харьковом. И его отец коллекционировал. И его дядя. У них, у Розенфельдов, это фамильное, – рассказчица поняла, что слишком отвлеклась, и исправилась: – Так вот, он проводил интереснейшие открытые беседы о городе. Встречи эти закончились в начале войны, потому что Розенфельды уехали в Москву. В смутные времена, как вы понимаете, было не до краеведческих историй. Потом жизнь наладилась,

я заскучала и попыталась найти кого-то из старых приятелей, интересующихся городом, и... поняла, что нужно начинать все заново. Подала заявку профсоюзу, они идею чайных встреч категорически отвергли, но разрешили открыть секцию при театре. И вот теперь я много лет уже как руководитель «кружка». Но слово это не приемлю.

– Но что же в нем плохого? – спросила стоявшая рядом с певицей балерина.

– Руководитель кружка, плесни-ка ты мне чайка! Для кружка́ кру́жка – лучшая подружка! – прокричал какой-то лысый мужчина, внезапно выскочивший на авансцену.

– О, нет! Мелехов! – простонала костюмерша Нинó. – Ты и так довел всех до белого каления похмельными текстами на плакатах об открытых дверях. Кто просил тебя врать, будто тебе поручено писать тексты? А теперь ты еще и про меня что-то сочинять начинаешь?

– Да не пил я! – отмахнулся мужчина. – Просто иногда мятежной творческой душе нужны просторы для реализации! И вообще я тут по делу. Должен сделать объявление. Граждане и товарищи, будьте осторожны, сцена закрывается! Директор велел зачистить территорию и закрыть дверь от греха подальше. В театре полно постороннего народу, а на сцене дорогие декорации.

– Я не уйду! – немедленно отрезала Нинó. – Мне еще изнанку занавеса почистить надо. Один рабочий сцены с похмелья нес макет универмага и перепачкал мне всю ткань!

– Да не пил я! – опять начал Мелехов.

– А я универмаг не носил, – невинно улыбнулся Женечка и переключился на дело. – Я б с радостью ушел, но ты договорись, чтобы товарищ Воробьев меня отпустил.

– Я здесь и я все слышу! – Управдел направился в оркестровую яму. – Сейчас проверю, что ты там наделал, и будем уходить. Ты, Мелехов, дай нам еще минуток 10.

– Прекрасно! – тут же сориентировалась певица. И пояснила явно для Нинó: – Мы как раз распевочку пройдем. Валентина берет у меня уроки пения, и нам важно почувствовать сценическое пространство. Десять минут, это, конечно, ничто, но за неимением лучшего...

Но десятью минутами дело, конечно, не ограничилось. Сначала бедняга Мелехов просто пытался всех призвать к порядку, потом стал грозиться выключить свет.

– Зря я, что ли, в осветительном цехе вести спектакль помогаю? Не только потому, что мятежной творческой душе нужны просторы, но еще и для того, чтобы кое-что узнать. Знаю, где ключ от щитка лежит, знаю, за каким щитком рубильник. Предупреждаю! Даю вам еще пять минут и устраиваю полное затемнение!

В ответ Нинó по ту сторону занавеса грязными словами прокричала нечто про грязный низ занавеса, а певица с балериной, проигнорировав обращение, снова начали петь, переделав слова грустной арии Гальки из одноименной оперы на угрожающее: «Ах, если выключишь ты свет, считай, тебя, мой птенчик, больше нет!»

Но Мелехов тоже был упрямым. Ровно в десять минут шестого он действительно выключил свет. Наполненное мощным пением и мерцающим светом от то и дело зажигаемых спичек пространство сцены выглядело совершенно сюрреалистично. Еще минут через пять присутствующие сдались. Пение стало приближаться, и затаившемся за кулисами Мелехову, от греха подальше, пришлось просочиться в предбанник и вжаться в стену, чтобы остаться незамеченным. Мимо прошел Евгений с керосиновой лампой, которая хранилась в оркестровой яме со времен массового и внезапного отключения электричества. Любезно освещая путь, он выводил всех остальных на проходную. Точнее, Мелехов думал, что всех. Пересчитав выходящих, он убедился, что нарушители покинули помещение и, закрыв дверь изнутри, включил освещение и отправился поднимать занавес. Будучи уверен, что рядом нет ни одной живой души, он набрал полные легкие воздуха и хорошо поставленным голосом пропел припев из «Дубинушки», ассоциирующей исключительно с запрещенным Шаляпиным.

Технически Мелехов был абсолютно прав. Ни одной живой души рядом не было. Была лишь мертвая: распластанное меж софитов тело с невидящими выпученным глазами и искривленном в немом крике ртом зависло прямо над головой поющего.

* * *

В двух кварталах от здания оперного нетерпеливо пританцовывала у бабусиноного подъезда семилетняя Ларочка. Чтобы не замерзнуть окончательно, она выдывала ногами что-то вроде чечетки, а руками изо всех сил била себя по бокам. Ой! Нога попала в скользанку и чуть не укатила вниз к дороге! Ближайшее окно тотчас громко и возмущенно затряслось. Бабуся Зисля, не открывая форточки, чтобы не напустить в кухню холод, грозно тарабанила по стеклу и жестами сообщала, что свернет внучке шею, если та ушибется, и вообще, если немедленно не прекратит теревить единственное свое пальто и не начнет вести себя как правильная барышня. Именно «барышня». Бабуся Зисля была добрая, веселая, но ужасно старомодная.

Ларочка послушно выпрямилась и даже сделала книксен, за что сразу была прощена и одарена беззвучными застекольными аплодисментами. Огромная оконная рама состояла из небольших разнокалиберных прямоугольничков, поэтому хлопающая в ладоши бабуся смешно распадалась на кусочки, напоминая рисунки из клетчатого блокнота тети Нинь.

Ларочка счастливо вздохнула, подумав о предстоящем спектакле. Балет – это ужасно красиво! И интересно! Если, конечно, знаешь сюжет. А Ларочка знала. Ведь тетя Нинь – друг Ларочкиного отца, волшебница и костюмер оперного театра – рассказывала о будущей премьеры много раз. Верней показывала. Прежде чем герои выступлений – и опер, и балетов, и обычных концертных номеров – появлялись на сцене, тетя Нинь обязательно зарисовывала их. И «любопытный маленький Ларусик», рассматривая клетчатые листочки блокнота, все знала наперед о постановках.

– Хватит мечтать, беги! – Над ухом Ларочки раздался мягкий голос Сони – маминой младшей сестры и всеобщей любимицы. Соня была красоткой, а это, как говорила мама, ко многому обязывает. Прежде чем показаться на улице, Соня всегда подолгу возилась в комнате у зеркальной дверцы шифоньера. Затягивала пояс, перевязывала пуховый платок, доставшийся в наследство от какой-то из прапрабабок, посылая отражению загадочную полуулыбку и томный взгляд Веры Холодной, тщательно укладывала кудри, чтоб те небрежно падали на лоб... И лишь потом, наконец, выходила.

– Опоздаешь! – будто не сама была причиной задержки, весело прикрикнула Соня, и Ларочка, набрав полную грудь воздуха, помчалась вверх по родному Классическому переулку.

Это был всегдашний, проделанный уже миллион раз перед встречей с отцом ритуал. Сначала Ларочку вели к бабусе Зисле, кормили и расспрашивали про успехи. Потом, под надзором стоящей у подъезда Сони, отпускали бежать до ближайшего перекрестка. Там Лара поворачивала налево, глазами находила спешащего по Рымарской улице отца и принималась махать руками. Один взмах предназначался Соне – мол, все в порядке, папа уже идет за мной, можешь заходить в дом. Все остальные – отцу: мол, здравствуй, я снова пришла первая, и я уже лечу навстречу нашим новым приключениям. Без приключений ни одна встреча с отцом, разумеется, не обходилась.

Вот, например, – Лариса вспомнила, потому что как раз пробегала мимо желтой двухэтажки с малюсенькими окнами и крышей набекрень, – отец отыскал и открыл харьковчанам дом Врубеля. Сейчас, конечно, тут жило множество других людей. Прошли те времена, когда одна семья могла заграбастать в пользование целый дом! Но в прошлом, еще до Великой Октябрьской революции и даже раньше, второй этаж здесь занимала семья художника Врубеля. Его жена – известная оперная дива – целый сезон блистала в харьковском театре. Она исполняла партию Татьяны в «Евгении Онегине», и Врубель – вот что значит художник, остав-

шийся без дела! – переиначил весь ее костюм. Тетя Нинб уже тогда отвечала головой за одежды артистов, потому заработала из-за экспериментов художника первую взбучку от начальства и первые седые волосы. Больше про Врубеля тетя Нинб ничего не знала и знать не хотела. А вот Ларочкин отец – хотел. Исшагав вместе с дочкой весь город, опросив старожилов и затребовав в библиотеке никому не нужные подшивки древних газет, он раскопал про жизнь художника в Харькове тысячу интересностей. И про роспись с драконами на фасаде домика за «вафельной» церковью (такое имя церковь получила от Лары, потому как куда больше напоминала бутафорию с витрины кондитерской, чем грозный оплот старого режима). И про портрет купчихи Хариной, который Врубель писал-писал, да так, негодник, и не выписал (отец заступался за художника, но Ларочка считала, что тут оправданий быть не может). И про почтенного врубелевского папеньку, который целых 13 лет работал в Харькове и постоянно зазывал сына к себе, а тот не ехал (вспоминая этот факт, Ларочка всегда горячо заверяла отца, что она бы в такой ситуации приехала незамедлительно). И, наконец, про двухэтажный домик по адресу Классический переулок, 6. Узнав, как важен этот дом, Ларочка уговорила соседку по двору поговорить с отцом. Та (зря, что ли, бабуся Зисля всю жизнь делилась с ней местом на дворовой бельевой веревке?) даже согласилась пустить отца внутрь. Там он, бедняга, сильно сокрушался и немножечко скандалил, узнав, что предметы прежней обстановки пустили на растопку еще десять лет назад. В результате всех этих приключений у отца написалась большущая, интересная и, как говорили взрослые, «нашумевшая» статья. Он дал ее в красивый толстый журнал, и многие знакомые до сих пор частенько о ней вспоминали в разговорах.

Да что там этот стародавний Врубель? Про современность отец тоже вечно что-то «выхаживал и раскапывал». И дочка ему помогала. Взять хотя бы вот это здание, глядящее сейчас на Ларочку тускло освещенной дверью служебного входа и парочкой окон, заклеенных плакатами. Это тыльная сторона знаменитого театра украинской драмы. Тот самый «Березиль»! Для похода на здешние спектакли Ларочка была еще мала, но твердо знала, что Лесь Курбас – грандиозный режиссер. Однажды для статьи о нем отцу понадобилось тайно побывать на репетиции. Да, тайно! Не как знакомому всем театральному критику Владимиру Морскому, а незаметно. Да, на репетиции! Не на подготовленном прогоне, куда всегда охотно звали прессу, а на внутреннем, закрытом занятии актеров, которое отец смешно называл «сырым тестом, из которого все равно неумолимо проступают очертания будущего вкусного спектакля». И что вы думаете? Призвав на помощь Ларочку и тетю Нинб (они забирали вещи отца за углом театра, а потом к нужному времени приносили их обратно), хитрец разделся, оставшись лишь в тельняшке и трико, измазал лицо толстым слоем грима и уверенно отправился к черному ходу «Березиля». Вахтер впустила его, растеряв всю бдительность. Ведь человек, разгуливающий в мороз по улице в таком виде, не мог прийти издалека, а значит, действительно только на секунду выскочил с репетиции через центральный вход театра, чтобы купить газетку, а теперь спешит обратно в зал.

– Ла-а-риси, где ты? – раздался издалека взволнованный голос Сони, и Ларочка опомнилась, побыстрее выскочив на освещенный трехглавым фонарем перекресток.

– Вот она я! Сонь, не волнуйся!

Пришло время махать руками. Отцовский силуэт в длинном пальто и в ненавистой маме летней шляпе, уворачиваясь от ветра и, как обычно, будто не касаясь ботинками земли, мчался к дочери от дома писателя Миколы Хвильевого. Про его творчество отец говорил так много, что Ларочка почти ничего не запомнила. Лишь то, что в комнате у Хвильевого постоянно гостит десяток начинающих эссеистов и сто поэтов, что он ужасно популярен и часто пишет про Москву.

«Кстаати!» – Лариса вспомнила, о чем собиралась попросить, и побежала к отцу с удвоенной силой.

* * *

– Папа Морской, папа Морской! – требовательно затараторила дочь после положенных приветственных объятий. – Скажи, 800 километров – это много или мало?

«Смотря куда, – прикинул Морской. – Если на запад – бесконечно много. На северо-восток могло б быть и побольше». А вслух сказал:

– А почему ты спрашиваешь, дочь?

– Я та-а-к хочу в Москву! – зажмурившись, Лариса поделилась сокровенным.

– Вот это номер! – Морской сперва, конечно, огорчился. – И ты туда же, детка? – но вспомнил, сколько Ларе лет, и заговорщически подмигнул: – Открою-ка я тебе секрет! У нас тут тоже пролетарская столица. И звезд ничуть не меньше, чем в Москве. Вот, например, балет. Я сам недавно слышал, как режиссер, а у нас еще и балетмейстер, Фореггер звонил жене. – Намеренно кривляясь, Морской принялся цитировать: – «Родимушка моя, не бойся, приезжай! На променаде тут буквально вся Москва, и дух провинции совсем не ощутим».

Лариса засмеялась.

– Вот так! – Морской завладел вниманием и кинулся в наступление. – Видала задаваку? Жену свою этот напыщенный павлин мечтает вывести у нас в спектаклях оперетты. Но, если честно, тамошняя труппа на уровень сильней его жены. – Морской забылся и, говоря с дочерью, одновременно примерялся к тексту будущей статьи, обещанной редакции газеты «Пролетарий». – Немного истории. Четыре года назад, командированные Наркомпросом «усилить и наладить культурное дело на Украине», в Харьков прибыли Асаф Мессерер и Владимир Рябцев – два опытейших московских гения-танцора с большим педагогическим азартом.

– Пап, – осторожно перебила дочь, – ты же про них уже писал!

– Но то был творческий портрет, а сейчас – совсем другое, – парировал Морской. – Напишем краткую историю балетной труппы, чтоб подвести к сегодняшней премьере.

– Ну ладно, – согласилась Лариса, вздохнув. – Если хочешь, то напишем.

Морской благодарно кивнул и снова заговорил бодрым тоном из передач про успехи пятилетки.

– С собою Рябцев и Мессерер везли вагон реквизита, костюмы и лучших выпускников балетных училищ Москвы и Ленинграда. Причем, везли далеко не на пустое место – за полтора года официального существования харьковского балета и за почти полвека жизни постоянной оперной антрепризы с неизменными танцевальными сценами театр уже успел встать на ноги. – Морской, иллюстрации ради, приподнялся на цыпочки, чуть не упал и решил сбавить градус восторженности. – Не на пуанты, конечно. Но все же материал для работы Мессереру с Рябцевым достался превосходный. Через пару лет, сделав три масштабных постановки, учителя окончательно вернулись обратно в Большой театр, а харьковская труппа – 120 сплоченных и окрыленных любовью к балету талантов – не замерла, а стала развиваться. Захаров, Герман, Дуленко, Лерхе вот недавно приехала...

– Онуфриева, – запутавшаяся в чужих фамилиях, Лариса вставила хоть кого-то знакомого.

– Ирина Онуфриева – особая статья, – улыбнулся Морской. – Как минимум, она не из приезжих. Воспитанница нашей балетной студии Тальори, ты же знаешь. Одна из тех, кто подавал надежды, но не уехал доучиваться, потому что – из огня да в полымя – сразу окупился в профессию. Верней, одна из всех. – Морской уважительно цокнул языком. – Не знаю никого другого, кто выбился б в ведущие танцовщицы всего лишь после обычных – ну, хорошо, необычных, а изысканных и знаменитых – студийных курсов. Балет же не завод, чтобы учиться прямо у станка... Но у Ирины, ты же понимаешь, свои законы и свой путь. Ее упрямству все вокруг подвластно...

– Она чудесная! – подхватила Лариса, – И балет чудесный. И Харьков.

– То-то! – подытожил Морской, – А что же мы стоим? Вперед! Нас ждет прекрасный вечер и конфеты из буфета!

Морской подхватил дочь под локоть и понесся с нею к театру, не забывая прокатить девочку на каждой встречной скользанке.

– Ботинки раскользя! – ворчала Ларочка, подражая бабуле Зисле, но весело смеялась и петляла в поисках новых полосочек льда.

Морской, параллельно с игрой, мысленно рассуждал о театре. Болезненная московская тема давно уже была как банный лист: прицепится, не отлепишь. «Конечно, мы Москве как инкубатор, – думал он. – Всех, закаливших свой талант, угнали. – Вспомнилось, как радовалась балерина Инна Герман, когда их с певицей Злотогоровой пригласили работать в Большой театр. Как спасавшаяся в харьковской опере от неприятностей, вызванных бегством ее учителя Михаила Мордкина в Америку, успевшая уже стать примой Ляля Одаровская был прощена, вызвана обратно в Москву и умчалась, признавшись напоследок, что счастлива «покинуть этот нетопленный зал и холодные гримерные». Или с каким воодушевлением уезжал блестящий Ростислав Захаров, получивший полномочия «поднимать» киевский балет. Морской переосмыслил и исправился: – Ну не угнали, а сманили – один черт. Утечка кадров организована нарочно и успешно. – Тут взгляд журналиста упал на верхушку торчащей из сугроба афишной тумбы, и настроение его улучшилось.

Приободрившись, Морской снова принялся за свое:

– Давай-ка, дочь, писать статью о премьере. «Режиссер Фореггер – хорошо зарекомендовавший себя в Москве советский постановщик-авангардист, трудящийся у нас сейчас как главный режиссер и балетмейстер...»

– Который задавака и павлин? – вмешалась Ларочка.

– Да, но талантливый павлин! – парировал Морской. – Невероятно яркий и умеющий закрутить такое, что всем нам и не снилось.

Задумавшись в поисках подходящей цитатки – без правильных цитат теперь статьи не принимали, – Морской, скосив глаза, глянул в лицо дочери. Какая она все-таки умничка! На девочку влияет сразу все – и мать, и радиоточка, и подружки, и эти странные уроки политинформации, которые с некоторых пор взялся проводить в «красном уголке» Ларисино дома поступивший в университет сын дворничихи... Но Лара все равно остается папиной дочкой: пропускает мимо ушей обывательщину и действительно «интересуется интересным». И очень компетентно рассуждает о будущей статье и о спектакле.

Морской тут же мысленно высмеял свою недавнюю реакцию на слова девочки про Москву. «Чем плохо, что ребенок хочет путешествовать? Ты сам в семь лет мечтал то о Париже, то о Петербурге. И о Берлине тоже бы мечтал, когда бы не бывал там раз в полгода... И никакой коварной подоплеки! Пойми ребенка, похвали, и пусть общение будет дружным!»

Тут Морской как раз удачно выудил из памяти нужное высказывание:

– Придя в наш в театр на втором году пятилетки, Фореггер сказал: «В текущем сезоне оперу нужно перевести на военное положение! Наше наступление обещает быть дружным!» Сказал и сделал: мы первые даем премьеру «Футболиста». – Морской назидательно поднял вверх указательный палец и продолжил: – Хочу заметить, что московский Большой театр покажет этот балет лишь к концу марта. С большим размахом – тракторы на сцене, рекордное количество гимнастов и футболистов. Но все это будет только через полтора месяца. Итог напряженного соцсоревнования за звание постановщика первого по-настоящему пролетарского балета подведен – Харьков победил.

Разноголосица толпы, занявшей небольшую притеатральную площадь, грозила заглушить дальнейший диалог, поэтому Ларочка ждать больше не могла и громко выпалила:

– Но, ЛЕНИН, папа! Премьера, театры, люди – я согласна, но Ленина-то здесь я не увижу. В нашем Харькове нет Мавзолея, папа Морской!

Тут 31-летний Владимир Морской – матерый газетный волк, много чего в жизни повидавший и много что нарочно не заметивший, уйму всего знающий и массу всего умеющий описывать не зная, – растерялся и не нашелся, что ответить. Только поплотнее обнял дочь, защищая от современных веяний, преднамеренных козней и дурных случайностей.

2

**Случай на премьере. Глава, в которой
тайное становится явным. Но не всё**



Прохладная реакция отца на мечты о Москве привела Ларису в недоумение. Такой умный, а ничего не понимает! Ведь все хотят в Москву! Вот Ксюшеньку из первого подъезда родители уже туда возили. С тех пор и взрослые, и дети во дворе – все беспрерывно расспрашивают про Кремль и про поход в Мавзолей. Лариса во дворе сказала робко о будущей премьере, но это никого не заинтересовало. Верней, заинтересовало только Ксюшу. Та сразу стала просить родителей повести ее в театр. А папочка ее – серьезный человек, работающий прямо в самом Госпроме на самом небоскресном этаже, – не смог достать билеты и сказал, что правильные дети в театр не ходят. И Ксюшенька при всех сказала Ларе, мол, враки это все, не может быть, чтоб в театр брали семилетнюю девчонку. Лариса разобиделась, конечно. И тут же Ксюше крикнула в ответ, что враки – это то, что вечно Ксюша всем про свою учебу говорит. Она и правда говорила дурость! Все дети с восьми лет пойдут учиться в нормальную советскую школу, а Ксюша утверждала, что уже в этом году поступит в удивительное место, где все учителя будут говорить только на немецком. В СССР – вся школа на немецком? Лариса раньше, может, сомневалась, но теперь, когда Ксюша не поверила про театр, окончательно убедилась, что немецкая школа – выдумки. Такое было приключение. С Ксюшей тогда рассорились навек, но быстро помирились. А в Москву все равно очень хотелось!

Вспоминая эту историю, Ларочка крепко держалась за руку отца, пробираясь сквозь наполнившую театральную площадь толпу к зданию с гордой надписью «Опера» на фасаде.

– Разрешите! Извините! Я с ребенком! Я при исполнении! Сами вы «куда прешь»! Уберите руки, или вы их больше не увидите! – Зажав портфель одним локтем и активно работая другим, папа Морской пробирался под козырек входа.

– Аааа, – зловеще сощурился и без того сморщенный старик, проверяющий билеты в дверях, – опять пользуетесь служебным положением, товарищ?

– Михаил Александрович, дорогой! – улыбнулся в ответ папа Морской. – Как не пользоваться, если советское учреждение для того меня и назначило уполномоченным от редакции, чтобы я мог первым оказаться на месте событий.

Он уже пихал под нос билетеру свое удостоверение и контрамарки, одновременно ловко выуживая из кармана свернутый трубочкой еще пахнувший типографской краской экземпляр газеты «Коммунист». В продажу номер должен был поступить только утром, но папе Морскому, как автору колонки об искусстве, разрешалось брать первые экземпляры.

– Уже разворовали! Вот вредители! – с восхищением сказал старичок и, прижав газету к груди, пропустил Морского с дочерью внутрь. – Проходите!

Позади загалдела возмущенная очередь, но они уже не слышали этого, помчавшись к гардеробу. Там тоже была очередь, но тех, кто брал напрокат бинокль, обслуживали сразу.

– Фух! Прорвались! – сказал папа Морской наконец. – Предлагаю хорошенько осмотреться. Вон там есть место, где тебя не затолкают, – он показал на маленький покрытый со всех сторон мрамором островок между этажами. Оттуда Ларочка отлично видела верх публики с первого этажа и низ тех, кто дефилировал этажом выше по балконам. Отец курил, облокотившись о перила, и обменивался кивками со знакомыми. Что бы там он ни говорил, премьера намечалась не особенно важная: Ларочка насчитала всего с десяток «голых» платьев. На прошлых балетах даже к такому, как сейчас, времени – полчаса до начала спектакля – роскошных, длинных до пола юбок и обнаженных спин было куда больше. Когда спины окончательно покрывались пупырышками от холода, дамы накидывали шарфы, шали и меха, но перед этим по параду голых спин можно было судить о значимости спектакля.

Вдоволь насмотревшись на шестимесячные завивки и платья жен ответственных работников внизу, Ларочка задрала голову. Зато по части лакированных туфель на высоких каблуках этот спектакль бил все рекорды!

Ларочка с завистью вздохнула. После того, как отчим Яков достал для мамы и для Сони фетровые боты – такие милые, со змеечками и с полыми каблуками, – Лариса поняла, почему взрослые не носят в театр сменку, но все равно оказываются в туфлях. Боты надевались прямо на туфли! Благодать! А для детей таких не шили. Непорядок!

– Я наконец-то вас нашел! – вдруг загорланил кто-то совсем рядом. Лариса вздрогнула и отскочила на шаг назад. С отцом здоровался за руку странный большущий лохматый парень в толстой вязаной кофте вместо пиджака. Лицо у незнакомца было удивительным. Если папа Морской, как говорила тетя Нинь, весь состоял из тонких штришков, словно эскиз (всё простым карандашом, а глаза синим), то незнакомец был будто вырезан из камня или высечен из дерева топором. Размашисто, мощно, но все равно красиво.

– Задание выполнено! Я сделал это, товарищ Морской! Ровно в пять часов. Следил за ней, как вы и поручили. Шпион из меня вышел первоклассный! А дальше...

– Тсс! – Папа Морской сделал страшное лицо и приложил палец к губам.

Незнакомец перешел на шепот:

– А! И у стен есть уши? Понимаю...

– Не знаю, как у стен, а у детей есть точно, – вздохнул папа Морской и показал на Лару. – Знакомьтесь, Николай, это моя дочь – Лариса.

– Во как! – оторопел парень. – Ребенок. Здравствуй! Извините, не заметил...

Зато Лариса заметила все, что было нужно:

– Папа Морской, ты за кем-то шпионишь? За кем? Зачем? И почему без меня?

– Поговорим позже, – сквозь зубы прошипел Морской, обращаясь сразу и к дочери, и к парню. И добавил, меняя тон и тему: – Ларочка, это Николай... Мой... э... ученик... Я могу вас так называть?

– Можете, – парень горячо кивнул, и Ларочке показалось, что прядь челки больно ударила его по носу. – Только я вам не «вы»! Я – «ты»! «Ты» и никаких гвоздей! – а дальше улыб-

нулся для Ларисы: – Про гвозди, это я не сам придумал, это Маяковский так сказал в одном стихотворении. О-о-о! – Парень снова переключился на папу Морского. – Кстати, о стихотворении! Я должен вам признаться, наконец, за что меня отчислили с рабфака. Я раньше не хотел вам говорить, ну а сейчас, когда все разрешилось...

– Что ж, признавайтесь, – согласился папа Морской.

– Был выгнан на национальной почве! Я украинец! А парторг – скотина!

Насладившись произведенным эффектом (а папа Морской явно удивился, причем не только из-за грубого словца), Николай продолжил:

– Сейчас объясню. Я на завод зачем в 17 лет пошел? Чтобы не сидеть у матери на шее тоже, но вообще, потому что от завода на рабфак посылают, а после рабфака прямая дорога в институт, а оттуда, как мать мне всю жизнь говорила, «в люди». Очень она хотела, чтобы я в институте учился. Не подводить же. Два года у станка отработал и попросился учиться. Год рабфака отсидел как шелковый, – на шелкового Николай был совершенно не похож, но не перебивать же. – Учиться, кстати, даже интересно. Еще чуть-чуть, и я студентом в Технологический пошел бы. И тут – на тебе! – инцидент. Вызвал меня к себе на заводе парторг и говорит, мол, надо для стенгазеты заметку про рабфак написать. В стихах и на украинском языке. Я честно говорю, мол, всегда готов в стихах, но украинского не знаю. А откуда? Да и зачем? Всю жизнь без него жил...

– Тссс, молодой человек! – поморщился папа Морской. – Чему вы учите ребенка? Вы же хотите выйти в журналисты? Чем больше языков, тем больше возможностей. Я вот, помимо украинского, русского, идиш и немецкого, пишу еще и на газетном, что в корне отличается от всех вышеперечисленных языков. И знаю также редкий вымирающий язык журнала «Сельский театр», что бесценно...

Ларочка поняла, что папа шутит, и засмеялась, а Николай, кажется, обиделся.

– Вам лишь бы шуточки шутить! – перебил он.

– Ну не рыдать же над таким конфузом... Запомните, мой друг, пренебрегать каким-то обучением – все равно, что воровать у себя...

– Да не пренебрегал я! – выпалил Николай. – Что вы налетели? И не дослушали к тому же! Так вот! Узнав, что я не владею украинским, парторг давай кричать: «Ты что это мне и товарищам голову морочишь? Мы тебя от завода на рабфак отправляли как украинского рабочего. Нам в рамках коренизации под украинцев места для обучения выделили! А ты, выходит, не украинец? Обмануть советскую власть вознамерился?» Тут я разозлился, – вот разозлившимся гиганта-Николая представить было просто. – Это как же я не украинец, если Горленко? – продолжил он. – Все предки матери испокон веков тут, на Слобожанщине жили. А отец из Луганской области. В родительском доме у отца, кстати, все на украинском говорили, но нам это уже не передалось. А вот национальная гордость – передалась. Да, говорю на русском, но это ж не значит, что я не украинец? А парторг такой: «Значит-значит!» Не выдержал я, расстроился, съездил парторгу по физиономии. Ну и сразу с рабфака вылетел. Пострадал за свою любовь к Украине. А с завода уже сам ушел, уж больно обидно стало за себя и за Родину...

Прозвенел звонок, и Николай был вынужден прерваться.

– Пойдемте в зал, – скомандовал Морской.

Тут Коля неожиданно замялся.

– Я, это... Ну не очень про балет. Я за последние двадцать лет – то есть за всю свою жизнь – был на балете всего однажды. Нам на рабфак пришла разнарядка, надо было выделить представителей... Меня и выделили. Только я заснул. Прямо на спектакле. Я после работы, уставший, а они танцуют... Позору было – до сих пор краснею! – Тут Николай и правда покраснел.

– Вот и отлично! – обрадовался папа Морской. – Раз так, то сейчас вы тем более должны пойти с нами. Будете проверочной группой. Новый балет призван будоражить массы и не усыплять! Вот и проверим.

– Ладно. Только все ж я – «ты»!

Пройдя в первый ряд партера, папа Морской поворчал про то, что прессе вечно выделяют не лучшие места, усадил Ларочку и Николая и, к великому удовольствию дочери, тихонечко спросил:

– Скажите, а почему про отчисление с рабфака вы не рассказывали раньше? Вы начали историю со слов «могу все рассказать теперь, когда все разрешилось»...

– Ах, да! – вспомнил Николай. – Уйдя с завода, я думал, что моя жизнь кончена. Посадят за драку же, как пить дать, посадят! Я так страдал, что окончательно заделался поэтом. Теперь пишу стихи без остановки, а раньше только, если просят для газеты.

– Прочтете?

– Что вы! Даже не просите. Сказать по правде, нечего читать. «Писать» это не значит «написать», все новые вещи только в стадии задумок. А старые, признаться, никудашны.

– Товарищ, тише! – возмутилась какая-то дама со второго ряда. – Вы не на трибуне! Мешаете настроиться на искусство! Не дайте подготовиться к восприятию!

Николай перешел на шепот, который почему-то зазвучал в два раза громче.

– Так вот! Про то, как дело разрешилось. Сегодня утром дядя Илья сказал, что парторг хоть и свинья, а жаловаться в милицию не станет. Видать, понимает, что получил за дело. Оклеветал трудовой элемент – получай в рыло! – Николай угрожающе показал кулак пространству. – А может, ничего не понимает, а просто испугался моего дядю. Мне очень повезло, что мать когда-то случайно встретила в городе дядю Илью. Он моему покойному отцу приходится родным братом, но все следы затерялись, и мама долгое время даже не знала, что дядя Илья в Харькове. А когда узнала, дядя Илья пообещал взять меня под крыло. Ну и взял. И вам отдал, когда услышал, что парторг у нас скотина, а я уже всерьез пишу стихи.

И уже после третьего звонка, одновременно со вступлением оркестра и мягким затемнением, Лариса с Колей в один голос задали вопросы:

– Как думаете, я ребенка заболтал? Я молодец, что перестроил тему?

– Папа Морской, так ты за кем шпионишь?

* * *

«Вот вам и “Танцевальный октябрь!”» – растерянно думал Морской к концу первого отделения, вспомнив броский термин из теории танца Фореггера.

Все в целом правда было грандиозно. И сцена, превращенная в стадион, – каким-то чудом художник Петрицкий визуально увеличил пространство раз в пять. И чарльстон отрицательных героев – Николай на нем так оживился, что стало страшно: не уйдет ли в подтанцовку. И все эксперименты с освещением – до этого все в Харькове привыкли, что есть всего два театральные спецэффекта (зеленая подсветка для обозначения ночи и красная – для вечера), а в «Футболисте» свет, как в добалетных цветомузыкальных представлениях XVIII века, был полноправным действующим лицом.

Но – увы и ах! – все вместе это было не спектаклем, а распадающимся на куски набором из концертных номеров. Из-за кулис отчетливо веяло киевскими каштанами: то есть тем временем, когда Фореггер только начинал и ставил в Киеве в своем первом театре, именуемом «Интимный театр», прекрасные концерты из миниатюр. Большие полотна требуют совсем другой работы... Быть может, стоило плюнуть на соревнование и прорепетировать еще пару месяцев? И, кстати, хваленая революционность подхода пошла во вред: убрали привычную для балетного спектакля структуру – сюжет рассыпался, запретили главной героине танцевать классические па – артистка потеряла в технике, которой славилась и которой могла бы поразить...

О главной героине – речь особая. Сюжет спектакля был нарочито примитивен: юные Метельщица и Футболист чуть не расстались из-за козней нэпмановских франта и дамы. Ситуация понятна для простого зрителя и, главное, в достаточной степени смешна, чтобы было что играть. Увы, Уборщица-Метельщица, а точнее исполнительница этой роли Ирина Онуфриева, смеяться была не намерена. Она как королева – горда и полна внутренних трагических переживаний. Красивая? Да, глаз не оторвать. Точеные черты, ресницы-крылья... Но тут же не обложка журнала, тут театр! Уборщица с «лица нездешним выраженьем» смотрелась абсурдно. Неясно, отчего же Футболист предпочитает эту хладную Жизель заводной и полной западного шика Даме – в исполнении характерной прима-балерины Дуленко образ вышел более чем привлекательный.

Известно, что на премьере Метельщицей должна была быть Галина Лерхе, специально выписанная режиссером из Ленинграда. Но все произошло, как когда-то в 1877-м, – при первой постановке никому еще не известного, пробного для композитора Чайковского балета «Лебединое озеро»: прима повздорила с режиссером, и он назло ей наскоро ввел в спектакль первую попавшуюся замену, которая неожиданно оказалась так хороша, что танцевала на премьере, несмотря на готовность раскаявшейся звезды вернуться в труппу. В случае с «Лебединым озером» была Полина Карпакова, станцевавшая Одиллию, которую писали для прославленной Анны Собещанской. В случае с «Футболистом» вместо репетировавшей в первом и основном составе Галины Лерхе премьеру отдали харьковчанке Ирине Онуфриевой.

Морской про все это думал-думал-думал. И утешал себя, что все равно спектакль вышел яркий и масштабный. Действительно про быт советских граждан, про спорт, про дружбу... И все равно во всех энциклопедиях запишут, что Харьков первый в мире его поставил. Припишут, ясное дело, мол, неудачно. А сам Морской корректно промолчит: его положение осложнялось тем, что исполнительница роли Метельщицы, та самая Ирина Онуфриева, уже три года как была его женой.

– А что? Мне нравится! – перекрикивая овации, выпалил Николай, когда украшенный странным узором из серебристых серпов и молотов, занавес харьковской оперы начали опускать, чтобы подготовить сцену для второго акта. – Футбольная команда у них, конечно, никуда не годится. Мы бы такую и школьным классом вздули бы. Но зато пляшут хорошо. А про Привидение и говорить нечего. Повезло вам с женой, товарищ Морской! Такая красавица! Только я не понял, призрак кого она изображает?

– Какое Привидение? – Ларочка первой догадалась, что Николай не шутит. – Ты что, либретто не читал?

– М-м, – Николай отрицательно помотал головой, похлестав себя челкой по вискам. – Из всего театрального я читал только немного Шекспира. До Либретто пока руки не дошли.

– Ооох! – Ларочка спешно кинулась образовывать нового знакомого.

– Товарищи! Товарищи, уймитесь! – Дама со второго ряда снова была недовольна. – Вы же в театре! Тут нельзя шуметь! Вы мешаете мне насладиться антрактом...

– Пойдемте! – громко зашептал Морской сквозь смех. – Тут люди наслаждаются антрактом, а сам спектакль для них повинность, на которую надо настраиваться. Нам здесь не место! Перейдем в буфет! Я, Николай, вас угощу! Я ваш должник.

– Он – «ты»! – поправила Лариса тоже громким шепотом.

– Ребенок дело говорит! – зашипел и Николай. – Но только это, угощать не надо. Я угощения очень не люблю! Чай, не бездельник, стало быть, накормлен. – В животе его именно в этот момент предательски громко заурчало. Парень покраснел и объяснился уже менее строго: – Я не за угощения ведь выполнял задание, товарищ Морской! И вообще мне вот только глаза на театр открывать начали, а вы увести меня хотите. Рассказывай, ребенок! Я внимаю!

– Да! Слушай, значит, про либретто! – торопилась Лариса. – Пап, а сколько будет длиться антракт? О! Я еще про вариации успею рассказать!

«Что ж, дети явно спелись!» – хмыкнул про себя Морской. Он с удовольствием остался бы послушать Ларочкино понимание балетных терминов, но обещание, данное жене и редакции, обязывало проследовать в фойе и буфет, чтобы прочувствовать атмосферу и отследить реакцию публики по свежим следам.

* * *

Пробираясь к выходу из зала, Морской то и дело оглядывался. Лариса с явным энтузиазмом что-то говорила Николаю, а тот смиренно слушал. Странно, но Морской с первой же встречи умудрился испытать к этому забавному парню дружеское расположение. Весь этот неподдельный интерес к миру, энергия молодости, цитаты современников не к месту и полное незнание классики, смех над собой... Все это Морского не раздражало, а забавляло. Даже несмотря на весьма красноречивые обстоятельства знакомства.

Появился Николай в жизни Морского неделю назад, когда в редакцию внезапно позвонили. В редакцию! Внештатному сотруднику, имеющему возможность теоретически находиться где угодно, позвонили именно в ту газету, в которую он без всякой предварительной договоренности решил зайти. Телефонировал Илья Семенович – улыбчивый, смешной чернобровый и лысый высоченный детина, не слишком значимый начальник в кожаной куртке, который 10 лет назад с шутливой грозностью распекал за излишнюю, по его мнению, грамотность Морского, служившего тогда писарем (Илья с издевкой называл его «товарищ писарь») при секретариате наркомфина. «Диктую: «ихний», значит, так пиши! Говорю: «стулка» – значит, так и надо. Мне важно мысль передать, а не в бирюльки про правила языка играть. И поправлять не надо – не дорос еще. Ты мысль испортишь, кто за это сядет?» Морской мысленно хихикал и исправно записывал все эти «изъяв со склада задержанное, к удовольствию трудящихся, мы обули две бригады». На удивление, не сел тогда никто.

Илья не появлялся много лет, а теперь оказался в рядах НКВД на какой-то сложновыговариваемой, но явно начальственной должности. Представившись по всей форме (звучало что-то про активный отдел уголовного розыска НКВД), Илья заставил Морского испытать омерзительный приступ неоправданного страха, явно наслаждался произведенным впечатлением, а потом очень вежливо и на «вы» попросил об услуге. О глупейшей услуге:

– Племянник у меня, понимаете ли, стихи пишет. Устроится со временем в газете. В какой? Да я еще не думал. В какой-нибудь. Ну а пока пусть учится у вас. Чему? Да вот всему, что вам знакомо. Вы сделали хорошую карьеру. Уверен, мальчишке ваше шефство будет в пользу.

По всему выходило, что к свободолобивому Морскому, замеченному в нетипичных методах работы и интересных связях, решили, даже не слишком-то таясь, приставить соглядатая. Но, вопреки всякому рационализму, Морской действительно проникся к Николаю симпатией. И Лара явно тоже.

Морской еще раз обернулся на дочь, а потом, устав аморфно болтаться в едва движущемся потоке выходящих из зала зрителей, он рванул к выходу.

– Простите-извините-очень надо! Фуух!

По коридору и фойе фланировала оживленная публика. Из-за наплыва зрителей в основном буфете площадки для продажи лимонада и конфет расставили и между этажами. А места все равно не хватало. Несмотря на все достройки и реконструкции театра было видно, что по своему первичному предназначению это был вовсе не театр, а зала «коммерческого клуба», в которой иногда давались представления.

Морской свернул в закуток, занимаемый главным театральным буфетом, и сощурился. Вот уже действительно как у Маяковского: «Дым табачный воздух выел». Вентиляция тут работала странным образом: самопроизвольно копила дым в буфетном закутке, не выпуская

его дальше в фойе. Несмотря на невозможность дышать, у каждого круглого столика стояла целая толпа, а вокруг двух прямоугольных столов с сидячими местами собралась двурядная очередь. Граждане, тем не менее, вели себя спокойно и раскованно.

– Как хорошо, что у нас есть балет! – оглядывая со всех сторон песочное пирожное с зеленым кремом, басила дама с короткой стрижкой, восседающая за столиком, во вторую или третью очередь к которому пристроился Морской со своей пол-литровой бутылкой лимонада. Хотелось не столько посидеть, сколько послушать, поэтому он и выбрал самый людный стол. – А то ведь в драме – ужас, что творится! – продолжила гражданка. – Ни одного русскоязычного театра в таком большом городе! Подумать только! Принципиально не хожу на драмспектакли с тех пор, как у нас закрыли русскую драму.

– Закрыли? Ах! – перепугалась спутница рассказчицы. – Я и не знала. Что? Уже давно?

– Совсем не стыдно это не заметить, – вмешался седовласый мужчина в хорошо сохранившемся фраке явно с чужого плеча. – Нет русских театров? Верно! С сентября по апрель. А с апреля по сентябрь – в период гастролей – только русские театры и есть! Я лично видел в Малом театре Мейерхольда. А в «Березиле» летом был с гастролями Вахтангов.

– Вахтангов умер восемь лет назад, – поставила обидчика на место стриженная гражданка.

– Вахтангов-театр, я имел в виду....

– Гастроли ни о чем не говорят! – Женщина вернула разговор в свои руки. – Русские театры закрыты – это непреложный факт и перегибы националистов. Балет – вот место всей прогрессивной общественности. Тут уж ничего не украинизируют! Зоологическое русофобство тут не разведаешь, не накурбалесишь!

Последние предложения – слово в слово – Морской совсем недавно читал в каком-то журнале. К счастью, рядом – как всегда вовремя – оказался Гриша Гельдфайбен – замзава по культуре. В подобных случаях он всегда бывал великолепен:

– Неправильной дорогой идете, гражданочка! – громко чеканя слова, проговорил Гриша. – Я тоже это читал. Да вот эту статью, которую вы нам тут сейчас процитировали. Так вот, ошибочка вышла. Микитенко в «Гарте» уже дал опровержение. Разъяснил, что товарищи погорячились, спорить с намеченной товарищем Сталиным политикой коренизации не хотят и верят в светлое будущее украинских театров.

– Я думала, ты сама такая умная, а ты цитируешь «Гарт»? – Спутница стриженной гражданки расплылась в широченной улыбке. – Слава октябрю! А то я уж совсем идиоткой себя чувствовала. А ты, выходит, слова запомнила, а опровержение не углядела? Ха-ха-ха! Дезинформатор!

Скорее всего, опровержения в «Гарт» никто не давал – такой поворот Морской не пропустил бы. Но, как известно, на войне все средства хороши, а долг каждого порядочного человека защищать «Березиль» от мещанства. Пока Морской мысленно аплодировал Гельдфайбену, Григорий уже умчался. А жаль – вот чье мнение про «Футболиста» действительно интересно. Гриша, хоть и вошел в профессию лет на пять позже Морского, успел уже стать профи и вдобавок ненавидел формальный подход, всегда стараясь докопаться до сути. Многих это обескураживало. На вопрос «Как дела?», например, Гриша часто отвечал: «Да что-то не очень» и с явной издевкой смотрел на сбитого с толку собеседника, собиравшегося услышать положенное «Не дождетесь» и промчаться мимо.

Морской хотел разыскать приятеля, но тут неподалеку от стола прогремело чье-то развязное:

– Да ладно! Вся эта коренизация – неловкая подачка для народа и западных газет. Их украинизация – лишь способ выявить всех нас, украинцев, а потом уничтожить всех вместе, чтобы и духа нашего на земле не осталось. Предупреждаю!

На миг в буфете повисла тишина, а потом все, резко вспомнив о делах, куда-то испарилось.

– Ба! Саенко! – Морской не ушел только потому, что лично знал говорящего. Степан Афанасьевич Саенко, в хорошем костюме и с зализанной на бок челкой, по-хозяйски расставлял салфеточки с конфетами на освободившемся столе и жестом предлагал Морскому присесть.

– Здравия желаю, товарищ Морской! – хмыкнул он в усы.

– Вы провокатор, Саенко! Распугали всех! И чем? Цитатой из кулишовской пьесы. Это мы с вами знаем, что «Мина Мазайло» – вещь правильных взглядов, разрешенная к постановке без всяких претензий и лишенная всякого злого умысла. Мы знаем. А люди?

– Это называется – зачистил территорию, – подмигнул Саенко. – Безотказный прием. В трамвае тоже действует. Как начнешь какую-нибудь антисоветчину вслух бубнить – глядь, а уже и давки нет, и места вокруг освободились. И ни одна зараза не доносит! – На этот факт он вроде даже обижался. – На кого угодно строчат, а на меня – ни строчечки. Не знаю уж, что у меня такого на лбу написано, но не доносят гады. Не тот нынче народ пошел! Не та нынче бдительность! Даже вот цитату из спектакля не узнали. Ишь, театралы!

Степан Саенко был головной болью и, в то же время, воплощением кое-каких надежд Морского. Знаменитый герой военного Харькова. Настоящая легенда! Чекист, в одиночку спасший город от бандитизма в лихие послевоенные годы. В 1924-м он заявил, что Харьков от контры и бандитов очищен, а значит лично он, Саенко, может жить, как обычный простой человек. И исчез. Газеты быстро забыли про героя, а Морской, одержимый идеей очерков о выдающихся харьковчанах и знаменитых гостях города, конечно, не забыл. Он отыскал Саенко на заводе «Серп и Молот». Герой революции превратился в героя труда и делал вид, что лишился памяти. На все вопросы Морского Саенко отвечал, мол, вы, товарищ, навывдумывали себе невесть чего. «Я простой однофамилец. Ни о каком ЧК и не мечтал. Всю жизнь трудился в Кривом Рогу забойщиком, а сейчас вот подался в Харьков. Для улучшения собственной матбазы». И как Морской ни строил разговор, с какой бы стороны ни цеплялся, все равно Саенко делал вид, что он – не он. Журналист даже подумывал уже, что и впрямь ошибся, но все равно не упускал случая, чтобы не поставить рабочего Саенко в положение, где тот может раскрыться. Например, вчера Морской вручил ему контрамарку на премьеру и на открытые танцклассы перед ней. Не всякий пролетарий оценил бы и далеко не всякий бы пошел. А вот известный всему Харькову слабостью к театрам чекист Саенко – другое дело. Соответственно, то, что хитрющий Степан Афанасьевич сидел сейчас перед Морским и прихихикивал, можно было назвать выходом из подполья. В конце концов, кто, как не прославленный чекист, может позволить себе столь вызывающие разговоры?

– Ты на меня так даже не смотри! – не оправдал доверия собеседник. – За контрамарочки спасибо, я в долгу! Я театр с детства ужас как люблю. И даже в самодеятельности участвовал у нас в Кривом Рогу. Но и не думай даже, что это значит, будто я твои сказки про войну поддерживать стану. Не был я в те годы в вашем Харькове. Спроси у кого хочешь на моей шахте в Кривом Рогу. Или, вон, Марьивановну спроси из нашей рабочей поликлиники. Она одна знает про мою грыжу криворожскую, в юности приобретенную. Такие грыжи в вашем ЧК не зарабатываются.

Ну что ты будешь делать? Морской снова почувствовал, что рыба ускользает. Больше из упрямства, чем ожидая результат, он дежурно предложил выпить:

– А может, коньячку? Тут на витрине нет, но если попросить...

– Вот ты зверь-человек, – возмутился Саенко. – Не пью я! Сколько тебе говорить? Лечился я, и с тех пор, того-этого, ничего такого не употребляю ни капли и ни грамма! Нельзя мне! Гробом это пахнет! Не веришь? Марьивановну спроси из нашей рабочей поликлиники.

Попытки напоить его и разговорить тоже не проходили.

Раздался первый звонок, и пора было идти. Саенко распрощался и отправился наверх, занимать свое место на галерке.

– Художнику отдельное мое горячее человеческое спасибо! – воодушевленно шептала совсем юная девушка подруге, пробегая мимо Морского. – Так выверены сцены! Такое внимание к каждой детали! Ты видела куклу, висящую на прожекторах на самом верху? Уверена, это аллюзия, но пока не понимаю на что...

* * *

Антураж второго акта привел зал в агитацию. Сцена превратилась в универмаг. Выставленные на всеобщее обозрение витрины поражали хорошо знающую отечественные прилавки публику ассортиментом. Метельщица была на сцене одна и, превратившись из отрешенной и возвышенной химеры в реального человека, играла в хозяйку магазина. Похоже, это был специальный ход – на публике Уборщица ступала всей стопой, почти не танцевала и грустила, а наедине с собой или с любимым Футболистом оживала и парила в воздухе, демонстрируя всю технику высокого балета. Хорошая идея, между прочим. И номер в целом выглядел прелестно. Как ни крути, Ирина молодец.

Однако и тут случился один казус. Уставшая быть лектором Лариса хоть и старалась смотреть во все глаза, но все же на секунду расслабилась и... мигом уснула, свернувшись в кресле уютным калачиком. Морской тронул за рукав Николая, с улыбкой показывая на спящую девочку. Против времени не попрешь! Обычно на балетах в первом антракте Морской отводил Ларочку к бабуле Зисле, а сам возвращался к третьему акту. Но тут такая важная премьера, тем более, неожиданно-негаданно, с Ириной в главной роли.

Оркестр в одном месте даже затянул кусочек, потому что Ире пришло в голову накрутить лишний оборот. Морской всегда поражался дирижерам харьковской оперы. Будь то кто-то из приглашенных да или сам, родной Арнольд Эвадьевич Маргулян, танцор всегда, вопреки всем правилам спектакля, мог рассчитывать на поддержку оркестра, если бы вздумал вдруг что-нибудь сымпровизировать. Морской не слышал и не читал ничего о подобных вещах в других театрах: дирижеру положено смотреть в партитуру и на свой оркестр, артисту – выполнять все строго по сценарию. Но, тем не менее, в Харькове сложилось удивительное братство танцовщика и дирижера.

В спектакле как раз назрел напряженный момент. Универмаговская гармония влюбленных Уборщицы и Футболиста, согласно либретто, разрушалась появлением разъяренной Дамы. Оркестр дал барабанную дробь, усиливая гротескное напряжение музыки. Свет замигал, и штанкета с потолочными софитами стремительно рванула вниз, усиливая ощущение наступления вселенского зла.

«Хм, мощно! Ого! Не зря про куклу говорили. Неужто Дама спустится к нам с потолка? Отличный акробатический прием...» – Мысли Морского еще искали логичное оправдание происходящему, а сердце уже бешено колотилось, и в легких все холодело, будто падал он сам, и не от предчувствия, а от ужасного осознания – силуэт был слишком знаком, траектория полета слишком однозначна. Морской вскочил в тот самый миг, когда падающая вниз «кукла», окончательно оторвавшись от шарфа, соединявшего ее с опускаемой вниз штанкетой софитов, врезалась в край универмаговской витрины, оставила на ней рваные куски ткани и плоти и, источая крупные кровавые кляксы, свалилась в оркестровую яму. Оркестр замолчал. За две секунды до истошного крика и бегства оркестрантов Морской с дурацким: – Я медик, пропустите! – подскочил к боковым ступенькам и практически спрыгнул к телу.

Сомнений не было. Нинб. Мертва. Совсем. Окочение. Кровь почти густая. Нинб!

Прекрасно понимая бесполезность своих действий, Морской принялся звать подругу по имени и трясти за плечи. Жуткий шрам от удушения поделил ее шею на две неестественно торчащие в разные стороны части. «Как так вышло? Шарф!» – Морской поднял голову и понял

кое-что ужасное. Болтающийся на штанжете огрызок шарфа был ему очень хорошо знаком. – «О господи! Убита!» Он громко закричал: – Тут убийство!

Краем глаза Морской заметил людей в форме, которые пытались спуститься в яму, пропуская общий поток людей. Умницы-музыканты в панике взбирались по ступенькам вверх и никого не хотели пропускать. Поняв, что надо действовать, Морской подтянул высокую тумбу к краю ямы, взобрался на нее, вцепился в бордюр, подтянулся сам и завопил что есть силы:

– Эй, Николай, да где же вы?! – К счастью, парень уже давно стоял у ямы и следил за действиями учителя с большим интересом. – Отлично! Телефон на вахте служебного входа! Бегите! Товарищу Гопнер! Вы вчера знакомились! Немедленно! Сообщите! Убийство во время премьеры! Костюмер Нина Ивановна Толмачева! Верой и правдой с начала работы театра! – Это Морской кричал уже на ходу, когда двое служивых, стащив его с тумбы, волокли под руки за кулисы, а мужественный Коленька, в полпрыжка оказавшийся рядом, старался запомнить нужные слова. – Убита! Задушена сегодня! В пять часов!

За кулисами Морской наконец освободился от служивых, встал на ноги, развернулся и брезгливо отряхнулся:

– Я сам пойду! Ну что вы, в самом деле!

За сценой, перегородив путь, эту процессию остановила Ирина:

– Стойте! Куда вы? Я жена...

– Свидетель, показания, приказ начальства, так надо... – забасили служивые, смущаясь. – Вы не переживайте, гражданочка. Велено просто пригласить на беседу.

Поклонники, коллеги и доброжелатели уже со всех сторон звали Ирину. Кто-то заботливый – не Нинó! Как может быть, что это не Нинó? – набросил дрожащей балерине на плечи пуховый платок. Ирина не двигалась, прямая, как струна, с неммым вопросом глядя на мужа. Он коротко кивнул, мол, да, убита. И сжал кулаки у груди, показывая жестом, мол, держись. Ирина молча опустила веки. Слеза оставила полосочку на гриме, скатившись к платью, про которое Нинó вчера сказала «праздник поломойки».

– Как жалко! – еле выдохнул Морской. А громко сказал:

– Дружок, там в зале спит Лариса.

И вслед крикнул:

– Вы были молодцом! Премьера удалась, не огорчайтесь... Я скоро буду дома, я уверен!

3

Верный помощник. Глава, в которой Коля всех спасает



Давно известно: хочешь что-нибудь сделать – делай сразу. Получив указания от товарища Морского, Коля, вместо того чтобы кинуться к телефону, оглянулся назад. И понял, что никуда сейчас не побежит. В зале включили свет. Зрители, перепуганные грозным: – Оставайтесь на своих местах и сохраняйте спокойствие, – ломались к выходу из зала. Музыканты бежали из оркестровой ямы, несколько дежурных милиционеров, напротив, спешили к ней. То тут, то там, раздавалось хриплое и издаваемое как бы на одном вдохе: – А-а-а! Убили! – Проснувшаяся среди всего этого Ларочка выглядела настолько ошарашенной, что Коля не смог уйти. Он успокоил ее, как умел – правдой: ничего особенного не случилось, убийство, взрослые заняты, товарищ Морской помогает милиционерам, а он, Коля, посидит пока с Ларой, хотя должен бежать сейчас к телефону, чтобы через прессу оповестить общественность о вопиющем происшествии.

– Убийство? – Девочка сначала даже не поверила. – И кого убили?

– Нина Ивановна Толмачева, – ответил Коля, все время повторявший это имя про себя, чтоб не забыть. Лариса вздохнула:

– Тетя Нинó расстроится! Она всех в театре знает.

Ларочкино упоминание о тете навело Колю на мысли о дяде Илье. Отдав племянника под опеку Морскому, он просил не пропадать и сообщать обо всем интересном. Коля с этим, сказать по совести, не спешил. Но если истории о личных делах Морского или обо всякой там газетной текучке с легким сердцем можно было считать неважными, то про убийство, как ни крути, доложить следовало. Как инспектор, курирующий безопасность театра, дядя Илья о таком происшествии, ясное дело, должен был узнать как можно скорее. Нужно было идти звонить. И дяде, и в редакцию – по просьбе товарища Морского. А вместо этого Коля стоял, как истукан, выискивая взглядом хоть кого-нибудь, кого бы оставить с Ларой. Но увы...

На сцене, поочередно падая в обморок, выглядывали из-за кулис, чтобы рассмотреть труп, взволнованные артисты. В оркестровой яме копошились оперативники и медики. Зри-

тельный зал значительно опустел. Лишь в нескольких местах вокруг записывающих показания милиционеров собрались кучки не успевших сбежать или особо ответственных граждан.

– Несчастный случай! – уверенно твердил кто-то. – Женщина протирала осветительные приборы и сорвалась вниз. Подробнее спросите у гражданина из зала, который первым бросился на помощь.

– Я видела в бинокль! Я все знаю! От фонаря отвалилась лампа, упала и убила дирижера! – кричала возле сцены на ухо милиционеру одна взбудораженная гражданка.

– Какая чушь! – перетягивала милиционера в свою сторону другая. – С потолка падала кукла. Сценарная задумка, полагаю. А преступление – дело рук террориста! Беляк из первого ряда воспользовался паникой от куклы, закричал что-то злое, прыгнул к оркестрантам и принялся убивать музыкантов. Они, бедняги, так из ямы и посыпались! Я лично видела сорочку скрипача, измазанную кровью!

– Товарищи! Товарищи, тише! Вы мешаете мне настроиться и дать четкие показания! – раздалось со второго ряда.

– Тьфу! – Коля не сдержался и плюнул прямо на пол, как и не в театре.

Лариса – то ли в ужасе, то ли в восторге – всплеснула руками, и Коле стало стыдно. К тому же внезапно он ощутил знакомый аромат. Рванулся, но почувствовал, что поздно. Все внутри, так же, как и сегодня в пять вечера, наполнилось предательским блаженным теплом, и Коля скорее догадался, чем увидел, что к Ларе приближается жена товарища Морского.

– Привет! – Балерина замерла, опустившись на колени перед девочкой.

Ларочка подскочила и с озабоченным видом взяла мачеху за плечи.

– Ирина, ты расстроилась? Из-за премьеры? Ты заплачешь ворот платья, и тетя Нинё устроит взбучку! Эй! Ты же взрослая! Ну, Ирочка, не плачь! – успокаивая балерину, девочка и сама успокаивалась.

– Не буду, – Ирина заморгала, как будто загоняя слезы обратно под веки.

Балерина с девочкой тихонько переговаривались, а Коля, понимая, что вот уже второй раз за сегодня ведет себя очень не по-товарищески, тарасился, не в силах оторвать от них взгляд. Черт знает почему, оказываясь возле особ такого рода (О, эта таинственная полуулыбка и томный взгляд! О, локоны, выбившиеся из общего пучка и небрежно падающие на лоб! О, эта осиная талия и едва прикрытые накидкой хрупкие плечи!), Коля безнадежно терял характер. Еще чуть-чуть, и он забыл бы обо всем на свете, но тут его внимание привлекла... другая женщина, моментально переключившая на себя все Колины мысли. Через перила балкона в глубине зала перелезла высокая суровая гражданка в сером директорском костюме.

– Товарищ Гопнер, осторожней! Товарищ Гопнер, не спешите, я дам вам руку! – громким шепотом причитал копошащийся на балконе грузный мужчина.

Коля не поверил своим глазам! Вот везуха! Гражданка повернулась в профиль, и он уже не сомневался. Перед ним была та самая Серафима Ильинична, про которую Морской столько вчера рассказывал и которой попросил сейчас позвонить. Редактор Гопнер собственной персоной! Будто только вышла из своего кабинета во Дворце Труда. Вся как вчера: та же тяжелая коса с проседью, те же острые скулы, усталый, но пронзительный взгляд.

– Зачем же вам на сцену? – шипел спутник товарища Гопнер. – Там труп! Вас вытошнит! Оставайтесь на балконе!

– Когда работаешь в газете, – через плечо отругивалась главный редактор, – все нужно видеть собственными глазами!

– Ребенок, мне пора! – кинул Коля, на радостях оправившись от балерининых чар и решив действовать. – Товарищ Серафима Ильинична! – уже кричал он, мчась по диагонали сквозь зал и перепрыгивая через спинки кресел, словно участник гонки по бегу с препятствиями.

Товарищ Гопнер остановилась, характерным жестом резко опустив руку в карман: – Слушаю! – глянула в упор, доставая из кармана, к счастью, вовсе не придуманный Колей браунинг, а часы на цепочке.

– Здравствуйте! Я у вас вчера был. С товарищем Морским, – бодро заговорил Коля. – Мы говорили о репортаже с футбольного матча, где наш «Металлист»...

– Коля Горленко! Давай-ка сразу к делу. Времени лишнего не имею и склерозом не страдаю. О чем мы говорили вчера – прекрасно помню.

– Ух! – выпалил Коля восхищенно. Он не ожидал, что человек, когда-то друживший с Крупской и лично общавшийся с Лениным, разъезжавший с агитбригадами по махновским селам в гражданскую войну, а теперь занимающий столько главных постов одновременно, может помнить по именам всех визитеров. – В общем, тут такое дело...

– За мной! – выслушав сообщение от Морского, товарищ Гопнер, несмотря на возраст и длинную юбку, лихо понеслась за сцену. Коля и сопровождающий редактора мужчина едва поспевали следом. Не останавливаясь, Гопнер допросила мнующихся в оркестровой яме медиков, лично взглянула на жертву и набросилась на оперативников, расспрашивая о шансах на раскрытие дела.

– Шансы точные! – уважительно рассматривая удостоверение редактора, сказал усатый милиционер в папаче. – Подозреваемого только что забрали. Я видел, хлопцы его под руки тащили.

Товарищ Гопнер радостно потеряла руки и снова ускорила, остановившись только внизу на проходной служебного входа, где на стене висел вожделенный телефонный аппарат. Дедуган в шапке-ушанке, восседающий за столиком вахтера, пытался было попросить о тишине, но Серафима Ильинична мягко и решительно вытолкала его на лестницу, заявив, что ей нужно провести секретное совещание.

– Готовим срочную публикацию про убийство! – постановила она через минуту. – Куда, кстати, делся Морской? – Товарищ Гопнер говорила так быстро, что ответить при всем желании не получилось бы. – Начну летучку без него. Итак, сегодня, 16 февраля, поздний вечер, – она снова выудила из кармана часы, сверилась с часами на столе вахтера, явно запуталась и продолжила без указания времени: —... Враги революции в оперном театре. Наши доблестные органы безопасности снова на высоте... – Она решительно выдернула из лежащего на столе вахтера альбома чистый лист и, вопросительно глянув на спутника, тут же получила от него карандаш. Да не простой, а рекламируемый сейчас повсюду карандаш-автомат московской фирмы «Гаммер» – карандаш-мечту. Товарищ Гопнер записала собственные слова и недовольно скривилась. – Лучше не враги, а враг! Так больше впечатляет, – исправилась она. – Но что писать еще? Морской нарочно смылся? – Товарищ Гопнер уже сняла трубку, потребовав от девушки соединить с дежурным из редакции, но параллельно продолжала совещание. – Так! Коля Горленко, помощник Морского. Вот вам первое редакционное задание. Нужен текст. Броский, трогательный, но и боевой. Спасайте! Немедленно. Ну! Что мне диктовать в редакцию? – Она впилась в Колю взглядом и неожиданно прикрикнула: – Я вас спрашиваю!

И тут случилось вот что: от волнения Коля покраснел, вспотел и... выдал поэтические строки.

Увидел враг: женщина-костюмер.
Заметил враг: женщина всем пример.
Чтоб не было в театре примера,
Враг устранил костюмера.
Кровавая вышла премьера.
Но ждет врага высшая мера!

Тебя же, товарищ наш, костюмер,
Запомнит навеки СССР!

– Караул! – почему-то сказала товарищ Гопнер, но тут же подбодрила: – За скорость – хвалю! В пять минут ничего лучше никто не придумает. Утром зайдете в бухгалтерию за гонораром. А теперь диктуйте!

Ощувив телефонную трубку у своих пересохших губ, Коля, старательно растягивая «р», пялился на блестящий рычаг, невероятным усилием воли заставляя себя не бросать на него трубку и, поражаясь происходящему, диктовал дежурному секретарю свой первый законченный стих.

* * *

– Ой! Коля-Коля-Коленька! – закричала Лариса, увидев выходящего из театра знакомого. Коричневая кожаная куртка и картуз придавали Николаю солидности, но Ларочку это ничуть не обмануло. – Не убегай! Я знаю, ты свободен! Давай ты нам поможешь? Это важно!

Николай, оторопев, замер. То ли совсем устал, то ли не узнал Ларочку в зимней одежде. Пока он пялился, она продолжала:

– Ирина, это наш Коля. Коля, это наша Ирина. Я не успела вас представить, потому что он сбежал.

Николай два раза смешно втянул носом воздух, поднял вверх брови и, глядя на Ирину, расплылся в блаженной улыбке:

– Да не сбежал я. Просто было надо... Оповещал широкую ответственность... Э... общественность... э... по поручению товарища Морского. Теперь вот думаю, то ли домой идти, то ли к дяде, то ли...

– То ли, – решительно ответила Ирина. – Вы очень мне нужны! Прошу, спасите!

К огромному Ларочкиному удовольствию, дважды Колю просить не пришлось. Ирина еще объясняла, что бедную засыпающую девочку нужно отвезти домой, а ей – ведущей танцовщице сорванного спектакля – отлучаться сейчас никак нельзя, а Коля уже все понял и кивал головой, опять стегая себя челкой по носу.

– Спасибо вам большое! – сказала Ирина.

– Не за что, – Николай, явно гордясь возложенной на него задачей, оживился, подмигнул Ирине и даже заладил свое любимое: – Но я не «вы», я – «ты». «Вы» говорят лишь незнакомым женщинам, плохим начальникам и людям безразличным. А друзьям надо говорить «ты». Это не мои слова, это Майк Йогансен написал.

Ирине эти подмигивания, конечно, не понравились. Она вообще-то была строгой с кавалерами.

– Хорошо! – кивнула она без улыбки. – Друзьям буду говорить «ты». А вас прошу – доставьте Ларочку домой. Я буду очень сильно благодарна!

Ирина ушла обратно в театр, а Коля с Ларисой еще какое-то время молча смотрели ей вслед.

– Вообще-то она хорошая, – попыталась оправдать мачеху Ларочка.

– Она хорошая, но сел в калошу я! – многозначительно выдал Николай, а потом вдруг расплылся в улыбке. – А ничего получилось, да? Хорошая в калошу я, – он выудил из кармана пачку папирос, нацарапал что-то на ней огрызком карандаша и совсем уже весело произнес: – Что ж, ребенок! Веди меня туда, куда я должен тебя отвести!

У подъезда, опираясь на заснеженный парапет, словно университетский профессор на кафедру, стоял дедушка Хаим. Ларочка знала повадки профессоров, потому что мама иногда брала дочь с собой на лекции. Знала также и то, что дедушка вовсе не профессор, а простой

мастер на все руки. Раньше, когда дедова красильня еще была дедовой, Ларочка часто бывала там и даже сидела вместе с Соней на приеме заказов. Покрасить шторы? Выкрасить ковер? Закрасить все проплешины на куртке? Все это, да и многое другое, дед Хаим делал лучше всех в округе. Сейчас, когда он работал мастером на большой государственной фабрике, попасть к нему на работу было уже не так просто, но в нерабочее время все, кто мог, просили что-нибудь починить или перекрасить. Ларочка дедом ужасно гордилась, всегда была рада его визитам, и сейчас конечно же весело кинулась обниматься. Дед пах лекарствами, морозом и болотом – под его домом, радуя окрестных мальчишек, хлюпала жижей никогда не замерзающая и не пересыхающая лужа. И Лара запах деда обожала.

– Где Вульф? – не выпуская Ларочку из рук, спросил дед Николая вместо приветствия.

– Понятия не имею, – честно ответил Коля.

Дед Хаим терпеть не мог правильные названия и имена. Ладно еще, как и многие горожане, он по старинке улицу Карла Либкнехта звал Сумской, так и, например, про недавно переименованный в Кравцова Мордвинов переулок говорил исключительно: Спуск с моей Синагогой, а харьковчан именовал харьковцами! Конечно, отца Ларочки он звал только прежним именем. Ну что ты будешь делать?

К счастью, Николай про неведомого ему Вульфа сразу забыл и заговорил по делу.

– Я ученик Владимира Морского, его жена просила сопроводить девочку, потому что у них в театре невесть что творится, а товарища Морского забрали давать показания про убийство.

Глядя снизу вверх, но, тем не менее, с большим достоинством, дед оценивающе порасматривал Николая. Потом сказал:

– Понятно, хоть и не ясно. Пойдемте в дом. Там молодежь расспросит.

Молодежью дедушка называл давно уже взрослых маму, ее сестру Соню и Ларочкиного отчима Якова. А бабуся Зислю он не называл никак. Бабушка с дедушкой не разговаривали друг с другом с тех пор, как дед Хаим бросил семью и ушел к «вертихвостке» Фане Павловне. Конечно, это выглядело странно. Ведь если что-то у бабуся в доме надо было починить или, например, уладить дела со старьевщиком – чинил и улаживал дед Хаим. А если бабуся по случайной доставала какие-то удачные продукты на базаре или молочница, что ходит раз в неделю, приносила товар с излишком, то бабушка все покупала и на деда тоже. При этом говорить друг с другом они отказывались. Все потому, что дед целых пятнадцать лет втайне встречался с Фаней Павловной. А в миг, когда он все-таки ушел из семьи, бабуся все узнала и его счастье прокляла. Да так, что Фаню Павловну разбил паралич. В тот же день. Не помогли ни лекарства, ни массаж, который Ларочкина мама ходила делать бывшей «вертихвостке».

– Когда все в сборе, они не запирают, – дед толкнул дверь, и Ларочка увлекла Николая за собой вперед по коридору.

Из бабушкиной комнаты выскочила мама в красивом зеленом платье. Ой! Тут только Ларочка поняла, что пережила. Балет, премьеры, а потом вдруг всеобщая паника, исчезнувший отец и еле сдерживающая слезы Ирина. Ларочке стало так себя жалко, что она тоже заплакала. Она запрыгнула на руки к маме, обхватила ее руками и ногами. И обессиленно сказала:

– Неси меня, мама, к людям.

Бабушка Зисля с Соней занимали две большие смежные комнаты рядом с кухней. В дальней комнате спали, в ближней – принимали гостей, накрывая круглый стол кружевной скатертью, выкрашенной дедом и всегда «похожей на новье». Вынимали из двухэтажного буфета посуду, пододвигали поближе к столу все свободные стулья, иногда даже заводили патефон. Как же Ларочка любила такие моменты! Сейчас, когда в доме одновременно была уйма народу, ей вспомнилось далекое прошлое, когда все близкие жили еще вместе. Тут обитали мама с папой и Ларисой, бабушка с дедушкой и Соня. Хоть и считалось, что это были кошмарные деньки, от которых «не мудрено, что все разбежались по своим норам», Ларочка скучала по

дружным чаепитиям вприкуску с обожаемыми кусочками сахара, по вежливым гостям отца, сплошь влюбленным в Соню, и по громким дедовым друзьям, от которых бабуся Зисля всегда прятала спиртное.

– Хвала небу, ты нашлась, детка! – воскликнула Соня, когда мама внесла Лару в комнату.

– Я же говорил, надо сидеть здесь и ждать вестей! – обрадовался папа Яков. И тут же начал пояснять: – Я уже и не знал, что делать. В городе паника, все бегут из театра, ползут слухи про убийство. Даже дед Хаим, вон, заволновался, пришел спросить, как наши дела. Фуух. Не зря я в Морского верил! Сказал, что вернет ребенка бабушке Зисле домой после спектакля – вот и вернул.

– Тссс! – осторожно положив Ларочкину голову себе на плечо, мама приложила палец к губам и наказала всем молчать.

Лариса поняла, что ее отправляют спать, и стала отчаянно сопротивляться. Она уже большая! Сил поднять голову от маминого плеча не было, и Ларочка просто умоляюще протянула руки к Коле, но тот с какой-то глупой улыбкой смотрел на Соню и ничего не заметил. Ах, вот, значит, как?!

– Между прочим, – закричала Лара, цепляясь за косяк двери, – это я его сюда привела! Сам он даже дорогу не знал! Почему он будет рассказывать, что было в театре, а я нет? Да ему всего 20 лет! Он, между прочим, не только папы Морского, но и мой ученик! Я весь вечер оказывала на него благотворное влияние.

– Лариса! – произнесла мама самым строгим своим тоном. – Ступай спать сейчас же!

– Тьфу! – Ларочка не выдержала и плюнула. Прямо на пол. Присутствующие, ахнув, повернулись к Коле. Тот, густо покраснев, пробормотал:

– Это не я ее учил! Чесс слово! Извините...

* * *

Когда разбушевавшуюся Лариску наконец отправили в постель, все внимание переключилось на Николая. Где Морской? Какое он имеет отношение к убийству? В какое ведомство увезли? Коля и рад бы был рассказать все внятно, но сосредоточиться мешали сразу три препятствия.

Во-первых, гражданка хозяйка, сославшись на недавний день рождения кого-то из семьи, подала пирожки. Причем такие, что Коля не смог удержаться. Набросился, как волк, и сразу себя выдал. «Да он совсем голодный!» – заохали вокруг и побежали за куриным супом. Коля, конечно, отнекивался. Но твердое хозяйское: «У нас балкона нет, на завтра не оставишь, надо доесть. Ты должен нас спасти!» купило его совесть. Теперь вот Коля пытался говорить с набитым ртом, но выходило так плохо, что даже Ларочкина мама – человек явно прогрессивный и сентиментальными «аханьями» не страдающий – твердо сказала: – Мужчина голоден – равно мужчина бесполезен. Физиологию никто не отменял. Так что сначала ужин, разговор – потом.

Во-вторых – Коля, стыдясь, прокручивал это в мыслях, уплетая вторую тарелку супа, – а не подводит ли он сейчас товарища Морского? Не покажется ли учителю оскорбительным, что Коля задружился с «его бывшей»? Двойра, кстати, оказалась прямой противоположностью нынешней супруги товарища Морского: румяная, видная, подвижная, она источала уверенность в себе, непоколебимое чувство юмора и энергию. Красивое умное лицо ее постоянно двигалось, меняя целую гамму эмоций, а речь вызывала у Коли желание срочно начитать умных книг. К Коле она, несмотря на его явно плохое влияние на Ларочку, отнеслась очень дружелюбно, что обязывало к взаимности. А Николай страдал, не понимая, не обидит ли Морского.

И, наконец, в-третьих. Соня. Увидев ее, Коля ощутил, как сердце падает в пропасть. «Да они издеваются! Сговорились!» – успел подумать он, прежде чем потеряться в блаженном сту-

поре. И нежный аромат (один в один такой, как у Ирины), и томный взгляд, и талия, и бледное, будто нарисованное, лицо с небрежными локонами, спадающими на лоб, – все столь опасные для Коли атрибуты имели место быть. «И тоже, небось, злая!» – в отчаянии подумал он, вспомнив разговор с Ириной о друзьях. Но Соня подводила: легко перешла на «ты», с большой сердечностью интересовалась, понравился ли Николаю суп из потрохов и сильно ли он испугался, когда увидел в театре падающее с потолка тело. «О! Не намек ли это на взаимность? – гадал Коля. – Она же за меня переживает!» К тому же (Коля решил с самим собой быть откровенным) хоть у Ирины и изящества побольше, но также есть огромный недостаток: она жена товарища. А Соня...

– Так-так, – несмотря на сумятицу в ответах Николая, Соня терпеливо продолжала расспросы. – Ты побежал к Ларочке, а вокруг все кричали про убийство. Но расскажи же подробнее, как случилась сама трагедия!

– Трагедия? Ну то как посмотреть... Нет худа без добра, хочу сказать, – краснел Коля. – Если б убийства не случилось, я бы не оказался тут, с... – Он чуть себя не выдал, ляпнув «с тобой», поэтому закончил очень странно: – тут, с потрохами... Ой, что я говорю...

Образовавшаяся в голове каша из романтики и прочих переживаний на корню пресекла все попытки Коли изъясняться здраво. И он вдруг выпалил:

– И тут внезапно, как сама любовь, на голову невинным оркестрантам упала женщина... Что я несу? Простите!

А в сущности, что он мог рассказать? Что женщина разбилась явно насмерть, но товарищ Морской все равно кинулся ее осматривать? И что сказал, мол, ее убили в пять часов? Толком Николай и сам ничего не понимал. Почему Морской делал осмотр? Так вот ему захотелось. Почему Морского увели на допрос, а не опросили в зале, как всех нормальных людей? Так им в голову стукнуло. Кто, в конце концов, был убит? Нина Ивановна Толмачева.

Вытянув из рассказчика имя, присутствующие вдруг поменялись прямо на глазах. И шуточки, и светские вопросы – всё кончилось.

– Нинб?! Мой бог, не может быть...

– Постойте! Коля, ты вполне уверен? Скажи, прошу, что ты ошибся с именем...

Присутствующие наперебой заговорили про жертву, которая оказалась и Нинб и Ниной Ивановной одновременно. Она занималась с Ларочкой рисованием. Она помогала деду Хаиму получить заказы от театра, когда красильня остро нуждалась в заказчиках. Она заведовала кружком краеведов, который обожал Морской. Она была другом семьи...

– Пожалуй, я пойду? – Коля почувствовал, что тот, кто совсем не знал Нинб, сейчас здесь лишний. У людей горе, а он тут сидит, суп наворачивает... К тому же он вдруг вспомнил, что забыл отчитаться дяде. – Мне, в общем-то, пора...

– А далеко тебе идти? – спросила Двойра и вновь закрыла лицо руками, стараясь не показывать слезы.

– Конец Пушкинской. Общежитие возле стройки, – ответил Коля. – Совсем недалеко.

Пугать мать ночным приездом не хотелось, поэтому Коля решил заночевать у друзей в так называемом общежитии. Гигантский «Дом пролетарского студенчества № 1» вот-вот должны были достроить, и некоторые особо отважные студенты временно размещались под ним в переоборудованных строительных бараках. Кто не рискнул уйти в барак и остался в корпусах бывшего епархиального училища, жили, конечно, существенно лучше, но, во-первых, уменьшали свои шансы на скорое заселение в новострой, а во-вторых, находились под постоянным контролем комендантов. В бараки же можно было приходиться кому угодно.

– Может, тебя отвезти? – предложил Яков. – Я на авто.

– Нет, что вы! – отмахнулся Николай и деловито добавил для пушей серьезности: – Я пройду. Мне свежий воздух, вам – экономия. Бензин, чай, не казенный!

– Как не казенный? – искренне удивился Яков. – Разумеется, казенный. Но, если скромничаешь, довезу тебя только до театра. Ты из-за нашей Лары оттуда ушел, туда мы тебя и доставим. Идет?

* * *

«В сущности, все это настолько трагично, что даже смешно!» – кутаясь в тяжелую, позаимствованную из оперного реквизита шубу, Ирина неуверенно сошла по ступенькам служебного входа. Дойдя до угла освещенной площадки перед зданием, она обернулась. Несмотря ни на гибель Нинó, ни на сорванную премьеру, ни на исчезновение критика Морского и бегство танцовщицы Онуфриевой, театр жил.

Вызывающе светилось дальше от фасада окно малого репетиционного класса. Там неистово тренировалась балерина Дуленко. Специфический метод снятия стресса, но, по словам самой Валентины, действенный. «Пляшет от горя – это про меня, – говорила она. – Если мне плохо, спасти может только танец». Она и грипп лечила тренировкой. А в 19-м, когда от голода люди хватались за любую работу, а перспективным танцовщицам из студии Тальони предложили подработать массовкой в опере, Ирина с радостью взялась, а Валечка – ни-ни! – умчалась в еще более голодный Петроград, чтоб совершенствовать искусство в хореографическом училище. Ну, потому-то Валечка и прима. Хотя вот Галина Лерхе – тоже прима, да еще и успевшая блеснуть в Ленинграде и Москве, – к тренировкам относится иначе. «Я буду танцевать сейчас вполсилы, чтоб не перегореть, а потом, на самом спектакле, выложусь. Вы же знаете, как это происходит!» – говорила она режиссеру Фореггеру. Он знал, но умолял – Ирина слышала, потому что когда-то стала невольным свидетелем их разговора – не расхваливать коллектив и «работать на все 100, чтоб за тобой тянулись». Галина не соглашалась. Тогда режиссер рассердился и стал чаще репетировать со вторым, страховочным составом. Все понимали, что он делает это, чтобы проучить строптивницу Лерхе, но вдруг оказалось, что у Ирины – а главную роль танцевала во втором составе именно она – отлично получается. Дело кончилось тем, что премьеру досталась Ирине. Хотя, если честно, сама она до сих пор считала, что даже работая вполсилы, Галина Лерхе вела партию четче и интересней.

В «Большой репетиционной» у окон то и дело мелькали разряженные силуэты. Банкет – столь неизбежный и неуместный одновременно – кому-то шел на пользу. Запланированное застолье проходило без главных действующих лиц спектакля. После известия о страшной гибели Нинó, да еще и после беседы с милицией большинство виновников торжества предпочли отказаться от празднования. Не обнаружив в зале ни их, ни дирижера, ни художника, ни представителей контролирующих организаций и партийного руководства, директор умоляюще глянул на режиссера, мол, «не пропадать же столу?» и тот отвесил щедрое: «Зови кордебалет!» Эти всегда были готовы выпить и закусить. Что, впрочем, правильно. Артисты – что с них взять?

Ирина вспомнила прощальный извиняющийся взгляд своей подружки по кордебалету Галюни Штоль и даже отвернулась от театра. Вот надо ж быть такой? Уже уходя, Ирина зашла в зал сказать всем «до свидания». Директор Рыбак начал сокрушаться, что велел своему шоферу развозить по домам перепуганных музыкантов и напрочь забыл про Ирину. Тогда режиссер Фореггер – сразу видно благородную кровь – вызвался немедленно проводить Ирину до таксо. В конце концов, имеет право постановщик переживать за исполнительницу главной роли?

И тут вмешалась артистка кордебалета и Ирина подружка Галюня Штоль:

– Ее обычно муж домой отвозит! Сейчас, конечно, тоже отвезет. Ведь так, Ириш?

В обычной жизни Галюня была мила и дружелюбна, но в личной... Ревнивая, как кошка. Эгоистка! Ирине сделалось противно.

– Конечно, муж меня встречает. Не волнуйтесь. – Ирина удалилась, однако не удержалась и шепнула Галюне на прощанье: – Дуреха, успокойся! На твоего барона никто не претендует! Кроме законной супруги, разумеется!

Галюня вспыхнула, но промолчала, сама понимая, что перегнула палку, вынудив подругу отправиться в ночь.

Однако надо было все же идти домой. Возможно, там уже ждал Морской. Обходя темный университетский сад десятой дорогой, Ирина решила держаться ближе к фонарям у Миронисицкой церкви. Переходя на другую сторону Карла Либкнехта, балерина чуть не упала, поскользнувшись на заледенелой брусчатке, вскрикнула и не на шутку испугалась, что привлекает к себе лишнее внимание.

«Зря я взяла шубу! – пронеслось в мыслях Ирины. – Манто, пусть в нем я бы продрогла, словно мышь, но хоть свое. Если снимут, не надо будет ни с кем потом объясняться. А так – казенное сопрут, доказывая потом, что не торгуешь костюмами и реквизитом...»

Никаких таксомоторов, конечно, видно не было. На перекрестке стояли одинокие сани, но от одной мысли, что придется самой договариваться с извозчиком, Ирине сделалось дурно.

– Эй, стойте! – вдруг крикнули из темноты. – Стойте, я вам говорю!

«Начинается!» – подумала она и ускорила шаг.

– Ирина, подождите! – голос вдруг показался знакомым. – Неужто вы одна идете? Здесь?

«Слава Богу!» – Ирину нагонял тот самый белокурый парень Николай, который, хоть и пугал излишним панибратством, но все равно был нынче очень кстати.

– Похоже, вам начертано судьбой сегодня провожать домой всех дам Морского! – улыбнулась Ирина.

– Я думал – столь почетное задание вы можете доверить лишь друзьям! – проворчал парень, но все же любезно пошел рядом.

– Для столь юного возраста вы слишком злопамятны! – вздохнула Ирина. – Не будьте букой, я вас умоляю!

На «ты» Ирина так и не перешла, но общаться явно стала куда теплее. А может, просто Коля, после знакомства с Соней, стал менее чувствителен к обидным высказываниям Ирины. Вообще-то Николай был встрече рад. Во-первых, дом Морского лежал практически по пути к общежитию. Во-вторых, всегда приятно почувствовать себя свободным с тем, с кем всего час назад ощущал пленником, лишенным всякой воли.

У дома с табличкой «ул. Карла Либкнехта, 49» они остановились для прощания.

– Спасибо вам еще раз за Ларису! – нарушила неловкое молчание балерина. – Я и сама могла бы ее отвести, но мне так не хотелось заходить к ним в дом.

– Чтоб не встречаться с его бывшей, верно? – догадался Коля.

Ирина посмотрела как-то странно. Потом отрезала насмешливо и зло:

– Скорее, чтобы их оградить от «бывшей», – и сразу же пустилась в объяснения: – Разумеется, я «из бывших». Мать – потомственная дворянка. Отец – купец первой гильдии. Разве не заметно? – она насмешливо приподняла брови. – Но есть и хорошая новость: они меня бросили, когда драпали от большевиков. Они бросили, а Советы подобрали. Мне было 12 лет. Так что я за советскую власть, вы не бойтесь, – закончила речь она уже более спокойно. – Я всегда сообщаю свое происхождение при знакомстве, чтобы потом не было лишних сюрпризов.

– Ээээ... Как это бросили? – Николай был ошарашен. Он попытался представить бросающую его мать и не смог. – Совсем? – Ирина промолчала, а Николай вдруг спохватился. – И, это... Никаких тут нет сюрпризов. Мне лишь бы человек хороший. Правда! Подумаешь – родители дворяне. Я видел недостатки и страшнее...

Ирина неожиданно рассмеялась.

– Он видел недостатки! Не-до-стат-ки! Да вашими устами со мною говорит вся правда жизни... – и тут ее смех начал нарастать, заставил затрястись и перерос в обильные рыдания –

похоже, сказала и рана в душе, открывшаяся от известий про Нинó, и перенапряжение перед спектаклем, и срыв премьеры, и отсутствующий муж.

Николай опешил. А Ирина все никак не могла с собой справиться.

– Простите, я... О господи, как глупо! Я просто не могу никак понять. Нинó – и вдруг мертва. Ну как же это?.. В последний раз я видела ее сегодня утром... В последний...

Ирина вспомнила, что много читавший в юности про авиацию Морской, на манер летчиков, вместо «последний раз» всегда говорил «крайний». Чтобы не было ощущения, что раз этот больше не повторится. А тут, с Нинó, слово «последний» предстало в своем самом прямом смысле. От этого веяло такой жутью, что Ирина совсем расклеилась.

– Вы не волнуйтесь, – всхлипывала она, – я сейчас выплачусь, и полегчает. У всех, знаете ли, свои методы. Дуленко танцует, я рыдаю. Нинó, вон, спала. Говорила: «В любой непонятной ситуации ложись спать. Хоть пять минут, хоть час – но спи, и тогда сможешь все осилить, и быть, как я: и энергичной, и отважной, и живой»... Живоооой! А вышло, что и не живая вовсе! – Ирина уже даже выла в голос.

– Ну, тише! Ну, вы что! Нужно быть сильной. Товарищ Морской вас не похвалил бы. – Коля наконец вышел из ступора и начал, постукивая шубу по плечам, подбирать правильные слова. То есть это ему казалось, что правильные.

– Морскооой! – еще пуще зарыдала Ирина. – А где он, ваш Морской? Как нужен – он куда-то пропадает. Ему до меня совершенно нет дела! Я совсем однаааа!

– Да что же вы такое говорите? – Коля не переносил женских рыданий. Он был готов провалиться сквозь землю, лишь бы его, в общем-то, неплохой, хоть и немного резкой, собеседнице стало лучше. – Морскому до вас дело есть! Еще какое! Он вас ревнует к каждому столбу! Сегодня даже поручил мне проследить, с кем вы встречаетесь!

– Ой! – Коля, на девчоночий манер, прижал обе руки к губам, но было уже поздно. «Проговорился! Все... Пиши пропало...»

Однако цель была достигнута. Воцарилась тишина. На Ирину услышанное произвело столь грандиозное впечатление, что она мгновенно успокоилась.

– Что? Повторите! Ну же! Повторите! – потребовала она через минуту. – Морской просил вас проследить за мной? С кем я встречаюсь? Как это?

Куда было деваться? Коля сдался.

– Да, собственно, рассказывать тут нечего. Обычная история про ревность. Товарищу Морскому кто-то наплел, что в пять часов у вас свидание. Мол, прямо к вам в артистическую – он говорил «уборная», и я, если честно, очень хохотал, – так вот, к вам зайдет ухажер. Товарищ Морской так мучился, подозревая вас в измене, что ради истины решил пойти на крайность. Просил меня побыть его ушами. Воспользовавшись тем, что театр открыл для посетителей все классы, я пробрался в артистическую, спрятался у вас в шкафу и там сидел. Недолго! И ничего не видел – только слышал! Я знаю, что никто из ухажеров к вам не входил. Входила только дама. Морского обманули. Вот и славно!

– Коля, вы не бредите? – Ирина переспросила трижды. – Все это совершенно на него не похоже. У нас полное доверие, и всех моих ухажеров он знает. К тому же ревность – это же мещанство. Дань собственности! Подлый архаизм. Он сам мне так все время говорит... Еще кричит, что не ревнив ни капли...

– Ему бы так хотелось, но не вышло... На словах все мы такие хладнокровные, а на деле... – тут Коля процитировал модное из Тычины: – З кохання плакав я, ридав!

– Скорее уж «самотня ты, самотній я», – ответила Ирина строкой из того же стихотворения. – Если мы про психологию моего мужа, конечно.

Ирина вынула еще один платок и зеркальце, чтобы привести себя в порядок.

Николай даже вспомнил чье-то меткое журнальное «Влюбленную в мужа женщину видно сразу – прихорашивается не только выходя на улицу, но и заходя домой». Его вдруг охва-

тило беспокойство за это странное и хрупкое семейство: «Надо будет поговорить с Морским, чтобы надоумил жену поменьше распространяться о своих родителях». Честно предупредить о неблагонадежном происхождении – это, может, и хорошо. Только всех – не обязательно. Николай не раз видел, как по родной его Москалевке, выпив лишку или просто под хорошее настроение, мужики ходили «бывших бить». И не важно им было, кто за советскую власть, а кто нет. Народ так долго угнетали, что жажду мести ни за какую пятилетку убрать не получится.

Николай, вот, сам тоже в прошлом году с мужиками ходил мстить. Правда, без выпивки и цивилизованно. С театральным плакатом даже. «Не верю! К. Станиславский» – написал он краской на ватмане, взяв симпатичную цитату из статьи про современных театральных режиссеров. Стояли митингом против религии, требовали здание еврейской церкви народу под клуб отдать. Клуб Николаю нужен не был. А вот с попами разобраться хотелось. Хоть с православными, хоть с любыми. С ними у Коли особый счет был. С тех пор, как заболевший чем-то пустячным отец умер, потому что вместо лекарств и походов в районную поликлинику с подачи церковников упрямо лечился пожертвованиями на храм да молитвами, Николай религию не переносил категорически.

– Знаете что! – сказала вдруг Ирина. – Поднимемся к нам! Выясним у Морского, что это за история со слезкой. Без вас, боюсь, он скажет, что я ее придумала сама.

– Э? – даже удивился Коля. – Вы не можете спрашивать товарища Морского о слезке. Я рассказал вам это по секрету. Неужели не понятно?

– Вообще-то нет, – спокойно завершила Ирина. – Спроси вы заранее, я бы сразу сказала, что от Владимира секретов не держу. Но вы все рассказали, не спросив... Идемте, я нагрее самовар! Но только, друг мой, будьте осторожны! – добавила она, видимо, чтобы окончательно добить несчастного провожатого. – У нас сосед – священник. Чуть что про душу говорить начнет, вы от диалога уходите, а то потом не остановитесь. С ним ужасно интересно разговаривать.

4

Разговорчики в строю. Глава, в которой Морскому пытаются развязать язык



Вопреки предположениям Ирины, дома Морской оказался совсем нескоро.

Сразу после случившегося с Нино́ его препроводили в директорскую приемную. На время расследования, как выяснилось, театр любезно предоставил свое лучшее административное помещение для следственных мероприятий. Дежурящий у двери милиционер кивком показал на ряд явно вытащенных с галерки кресел с поднятыми сиденьями, но Морской никак не мог оставаться на одном месте. Он отвернулся к окну и, посмотрев на вьюгу, тут же вспомнил, как Нино́ когда-то высовывалась в форточку и, отгоняя неистово кружащиеся снежинки от стекла, кричала смешное: «Опасно! Прочь! Красавицы, вы можете растаять!» Игра игрой, но до чего же глупо, что ей самой никто не прокричал заветное: «Опасно! Прочь!»...

Она, наверняка для красоты сюжета, вмешалась в нечто жуткое... Во что?

– Опять? Помилуйте, ну сколько можно? – раздался за спиной Морского голос милиционера. В приемную, толкая перед собой тележку с буфетными яствами, выкатился вездесущий дедуган-Анчоус. Получив прозвище за внешнее сходство, в душе старик был тоже суховат. Зато всю свою жизнь посвятил театру. Был и вахтер, и по хозяйственной части. Сегодня перед спектаклем предстал еще и в виде билетера, а вот сейчас...

– Сказано закусочку довести, вот и везу. Ты, служивый, не опятькай мне тут, а докладывай про меня начальству, как положено! – прикрикнул на милиционера дедуган.

– Товарищ инспектор, к вам снова из буфета! – дежурный приоткрыл дверь.

– Что ты будешь делать! Не дают работать! Ладно, запускайте... – раздалось изнутри.

Одновременно с этим из кабинета вышел рассерженный Гельдфайбен. Морской кивнул и бросился к приятелю.

– И вы попались, друже? Вот так номер! – воскликнул Григорий, пожимая протянутую руку. – Как глупо тратить столько времени впустую!

Оказалось, Гельдфайбен пострадал за мир во всем мире. Конкретней – за свое желание всех помирить. В антракте в буфете, как и положено членам конкурирующих организаций, вусмерть разругались представители Главреперткома и Главискусства. Григорий остался их мирить, чем вызвал подозрения у правоохранительных органов. Главискусство и Главрепертком, которые вообще премьеру не смотрели и всю дорогу пили в буфете, были расспрошены на месте, а Гельдфайбен, который удивительным образом намеревался опоздать именно на ту часть спектакля, в которой произошло убийство, был доставлен для расспросов непосредственно к инспектору НКВД. Инспектор попался нервный и недовольный – задавал глупые вопросы и даже пытался в чем-то обвинять. В конце концов Григория отпустили, но нервов он потратил изрядно.

– Нормальных журналистов журят за страсть к мифотворчеству, а вы пострадали от миротворчества. Оригинально, как всегда! – хмыкнул Морской.

– Нормальные журналисты к мифам никакого отношения не имеют, – парировал Гельдфайбен. – Факты и только факты – вот наш девиз! – и тут же переключился на серьезный лад: – Я вам искренне не рекомендую идти в этот кабинет. Там никакого уважения к вошедшим.

Морской объяснил, что уж кому-кому, а ему деваться некуда, потому что действительно нужно дать показания. Он ведь оказался хоть и не прямым, но свидетелем в деле об убийстве.

– Убийство? – Григорий скривился. – Инспектор говорил про смерть. Я думал, был несчастный случай...

Морской вздохнул и выложил все, что знал.

– Что вы там про мифотворчество говорили? – после короткого раздумья переспросил Гельдфайбен. – Вы не драматизируете, друже? Мы оба знаем, как Нинó носилась с этим вашим театральным занавесом. Вполне могла полезть обрезать на нем какую-нибудь не к месту торчащую нитку... За арлекином, как мы знаем, как раз идет мостик. Под ним софиты. – Григорий озвучивал то, что в первую секунду после падения Нинó крутилось в мыслях у Морского. – Представьте, Нинó пришла проверить арлекин. Стоит на мостике. Шарф свесился к софитам. Представили? – Гельдфайбен галантно держал одну руку за спиной, а другой жестикулировал так, будто рисует описываемую картину в воздухе. – Теперь смотрите, что за неприятность! Шарф зацепился за софиты. Нинó нагнулась и неловко оступилась. Все это очень вероятно. В самом деле! Упала с мостика на софиты, но, пока летела, зацепившийся шарф стянул ей шею. Задушилась собственным шарфом, как босоножка Айседора. А? Так почему убийство, друже?

– Тот шарф... – Морской, опять припомнив жуткий шрам и переломанную шею, содрогнулся, – ...тот шарф был не из ткани. Он бумажный. В реквизитной и сейчас стоит рулон бумаги для искусственных цветов. На вид – как ткань, по качеству – салфетки. Нинó при мне отрезала кусок себе на шарф. И так гордилась! Мол, и красиво, и без затрат. «Одна беда – чуть где зацепишь, рвется. А если намочить, то раскисает. Менять такие шарфы придется слишком часто!» Я очень хорошо все это помню. Тот шарф не может задушить. Он рвется даже от случайного вдоха...

Кроме общественной и литературной деятельности, Григорий был еще и штатным корреспондентом в «Коммунисте», поэтому, заслушав такие подробности, мгновенно оживился.

– Я, кстати, передал сообщение себе в «Пролетарий», но о бумажном шарфе еще никому не рассказывал, – осторожно намекнул Морской.

– Вас понял! – включился Гельдфайбен и попятился к выходу. – Пожалуй, мне пора. Дух журналиста требует свободы. Пойду немедленно засяду за заметку.

Морской, который, именно этого и добивался, удовлетворенно кивнул. Под руку весьма кстати подвернулся направляющийся к выходу Анчоус со своей буфетной тележкой.

– Вы прям на всех постах сегодня, – улыбнулся ему Морской и взял бутылку лимонада.

– А обычно, можно подумать, не на всех? – фыркнул Анчоус, ощупывая карманы в поисках сдачи. Разумеется, в тот момент, когда старикашка заявил, что сдачи нет, дверь директорского кабинета распахнулась, и Морского позвали внутрь...

* * *

Разговор складывался прескверно. Не спасало – а может, даже вредило делу – и то, что инспектор оказался журналисту хорошо знаком: Илья Семенович Горленко, дядя Коли и давний начальник Морского собственной персоной.

По-хозяйски забросав директорский стол своими бумагами, он, уперев локти в столешницу и вцепившись длинными пальцами себе в виски, зачитывал что-то из ближайшей папки. Недобро глянув из-под косматых бровей, он бросил короткое: «Садись», потом схватил графин, наполнил стакан водкой и пододвинул к краю.

– Пей! Разговор будет долгим.

Морской отрицательно помотал головой. Помянуть Нино́ он собирался иначе. Пожав плечами, Илья налил себе. На доньшко. Выпил, утер рукавом губы. Опять уставился в папку на столе. Пауза становилась невыносимой.

– Таак, – протянул он наконец. – Давай начистоту, как одиннадцать лет назад. Я, чем смогу, прикрою, но будешь упираться, стану грубым. Мне сверху спуска не дают, так что сам понимаешь. Расскажи мне все, как было. И мы решим, как тебя спасти.

– Спасать?! Илья Семенович, о чем вы? Я думал, речь пойдет об убитой.

– Вот именно. О том, кто тебя, голубчик, надумил бросаться в яму и хватать наш труп. Ты сам себя, считай, разоблачил, подробно выложив так много об убийстве. Ты б по-хорошему признался, в чем тут дело, я б отчитался. Разошлись бы миром.

Морской раз сто моргнул, не понимая, соображая лихорадочно, кому бы позвонить. Илья всегда был несколько глуповат, поэтому найти с ним взаимопонимание шансов почти не было. Он же объяснил моргание Морского по-своему:

– Прикидываемся невиновным агнцем? Ладно. Тогда начнем издалека, – Горленко демонстративно перелистнул страницы в папке. – Давай знакомиться заново, товарищ писарь. Я знал тебя как красноармейца Вульфа Мордковича, 1898 года рождения, служащего в секретариате товарища наркома финансов Донецко-Криворожской Республики. Как мы только ни назывались, да? – хмыкнул он. – Дорожки наши разошлись, когда пришлось покинуть Харьков. Ты, как я понимаю, дернул в эвакуацию... – Илья пробежал глазами по тексту и, довольный, ткнул пальцем в низ страницы. – Хотя, смотрю, уже в 1920 одумался, вернулся, поступил в харьковский ВОХР на службу писарем. Ушел в студенты. Слишком уж внезапно. В мединститут, что совсем уж странно. Четыре курса – и опять сбежал. Теперь – перерождение. Ты – всем известный газетчик. «Золотое перо!» «Острый язык, мудрый глаз!» Как там тебя еще зовут? А? Кое-кто ругает. Вот за статью о художнике Врубеле, читаем: «Замаскировав религиозную деятельность художника Врубеля рассказом об одном театральном костюме, Морской протасил в печать литературный портрет врага». Видать, и критиков, бывают, критикуют?

– Ну почему все это вспоминают? – рассердился Морской. – Кому-то померещилось вредительство в том, что Михаил Врубель расписывал церкви, а я о нем пишу. Вы ведь тоже понимаете, что все это нелепо?

– Понимаю, – согласился Илья. – Но могу не понимать. Вот как и то, что сейчас вы, Владимир Савельевич Морской, причем 1899 года рождения, беспартийный, уполномоченный редактор газеты «Пролетарий»...

– Илья Семенович, – Морской снова попытался переломить ход беседы, – вы так все это говорите, будто не знали, что я теперь Морской. Не вы ли мне звонили в редакцию неделю назад, чтобы поручить вашего племянника?

– Что?! Ты! Как смеешь! Разговорчики в строю! – Горленко вдруг вскочил, вытянулся, как пружина, и стукнул кулаком по столу. – Мало того, что натворил делов, так огрызаешься! Отвечай по существу, раз спрашиваешься! Племянник мой – особая статья. Я за него еще поостроже спрошу. А для начала я хочу понять, с кем имею дело. С псевдонимом?

Морской помимо воли закатил глаза к потолку. Слово «псевдоним» стало нынче ругательным, и приходилось постоянно оправдываться. Все эти модные газетные «честный советский гражданин, которому нечего скрывать от товарищей, не будет подписываться вымышленным именем» породили у людей буквально паранойю.

Морской взял стакан и влил в себя громадный глоток обжигающей дряни – он посчитал, что Илью это должно было немного успокоить.

– Объясняю, – начал Морской, когда снова смог дышать, – я сменил имя и фамилию задолго до того, как нынешние приспособленцы стали подписывать псевдонимами клеветнические статьи. Стать официально Владимиром Морским меня обязал лично Культотдел ВУСПСа, – эту скороговорку за последнее время Морской выучил уже наизусть. – Имею на руках копию приказа за подписью Бориса Лифшица. Если подробнее, то в 1923 году как автору развернутых эссе об истории театра мне поручили посетить Берлинский форум в составе делегации УССР. Эссе я в ту пору писал под псевдонимом Владимир Морской. Чтoб не как в газете, где я был В. Мордкович, и не как в листовках политпросвета, где подписывался «Красный Нави». Запрос от иностранных коллег пришел на имя товарища Морского. Объясняться было некогда, поэтому решили сделать псевдоним реальным именем. Я сообщил о смене имени-фамилии, как и положено, в газете «Известия». Никакого злого умысла, просто стечение обстоятельств.

Илья ничего не говорил, лишь кривил рот и насмешливо кивал.

– Про год рождения, – Морской перешел к следующему пункту. – Я родился в 1898 году. Но сейчас нужно говорить в 1899-м.

– Воот! – оживился инспектор. – Я насквозь вижу! Ваш 1899 год – умышленное искажение фактов с целью скрыть свою службу в царской армии. Так? Все знают, что тот, кто родился в 1898 году, служил царю, а кто младше – уже не попал под призыв. И вот сегодня все, кому не лень, уменьшают себе возраст, чтобы сделать вид, что симпатиями к самодержавию никогда не отличались. Этот маневр мне давно знаком!

– Быть может, кто-то из моих ровесников так и поступает, – рассудительно не стал спорить Морской, – мне это не известно. Наверное, не стоит осуждать людей за желание забыть все, связанное с войной...

– Забыть? – Grimаса Илья теперь выражала нечто среднее между гневом и отвращением. – Как бы не так! Скрыть! Вот правильное слово. Я вот как родился в 1889-м, так везде 1889-й и пишу. Всегда писал.

– И что же, воевали за царя? Своею кровью укрепляли власть тирана? – Морской цепко схватился за возможную слабинку, но был повержен.

– Я с 1907 года в партии и в подполье, – отрезал Илья. – Если бы меня нашли, то в армию звать бы не стали – повесили бы на ближайшем телеграфном.

Они помолчали, снова выпили. Взгляд инспектора немного потеплел, и Морской поскорее продолжил объяснение:

– Но мне и в самом деле нечего скрывать. Призвать меня, должно быть, не успели... Я родился в конце декабря 1898 года по старому стилю. То есть в начале января 1899 года по новому. Естественно, постоянно возникает путаница. Во-первых, в старых бумагах всюду 1898 год, во-вторых, я сам частенько автоматически говорю его. Но нынче-то это называется 1899-й...

– Ладно, выкрутился! – обрубил Илья. – Тогда ты мне такую штуку объясни! – Он, кажется, был уже довольно пьян. – Как так вышло тогда, в 1918-м? Все на войну, давить бушу-

ющую контру... Мы – окружение товарища Межлаука – с боями вывозить в Москву ценности Госбанка. А ты вдруг в Саратов, как подлый дезертир. Как это понимать?

– Тут уж простите, но куда послали. И, знаете, – всему был свой предел, и оскорблений Морской терпеть не собирался, – тот ад, что был «в тылу», я б и врагу не пожелал, поверьте, – он перевел дыхание. – Ну хорошо, я поясню. К Валерию Ивановичу Межлауку в помощники я попал в 18 лет. Наши родители дружили, вы ведь в курсе? – Морской, припомнив давние события, печально усмехнулся. – О, дивен мир глазами пылкого юноши! Умнейший, образованнейший начальник, я сам – красногвардеец в тылу, вершащий большое важное дело, несущий народу грандиозное будущее... – Он больше не следил за реакцией Ильи, переключившись на тяжелые воспоминания. – Я был почти что счастлив, а потом мою мать свалил тиф. Как раз, когда немцы вздумали наступать. Я не мог ее оставить, и товарищ Межлаук, войдя в положение, дал мне направление в Саратов. Да, в тыл. Но с очень важным поручением. Вы слышали про эпидемии на фронте?

– Я видел! – стукнул себя кулаком в грудь Илья.

– Значит, вы меня поймете, – обрадовался Морской. – Кроме спасения матери, на меня возлагалась миссия по созданию новых действенных санитарно-гигиенических и эпидемических отрядов. Межлаук знал, что я не подведу. Кто, как не я, вытрясший душу из всех врачей, соорудивший домашний лазарет и поклявшийся вырвать мать из цепких лап тифа, знал все про эпидемии? – Морской с удивлением заметил, что все еще гордится той победой. – Для начала надо было создать передвижной госпиталь хотя бы на 50 коек. И все это быстро, потому что эпидемические отряды РККА, доставшиеся в наследство от царской армии, сплошь были непригодны, а люди гибли сотнями... Извините, – он вздрогнул, прогоняя страшные картины, – перескочу на пару лет вперед и скажу, что с задачей справился, но через что прошел, пожалуй, лучше и не вспоминать. Когда сам слег, был даже рад. Сил не было совсем... Вы знаете, какой процент потерь от эпидемий среди действующих войск? Вы знаете, что чувствуешь, когда, ради спасения еще не заболевших, всех заразившихся решаешь не спасать?

Инспектору таки удалось вывести Морского из равновесия, но это пошло на пользу делу.

– Ну ладно, – поднял руки Илья, растерявшись и, стало быть, капитулируя. – С этим тоже ясно. Хотя... Какого черта ты тогда делал в харьковском ВОХРе после выздоровления? Такое понижение... В чем провинился?

– В ВОХР я попросился сам, – охотно ответил Морской. – Это на тот момент была единственная возможность остаться в Харькове. Мне дорог город детства. Родители приехали сюда из Екатеринослава, когда мне было два. Занятно, что малой родиной я считаю Харьков, они же для себя – Екатеринослав. Ну, то есть Днепрпетровск, если по-новому...

– Погодь-погодь, – Илья, похоже, слышал только интересующую его часть рассказа. – Ты попросту бежал от фронта, да? Ну ты, товарищ, глу-у-уп! Война-то уже была, считай, в шляпе! Вернулся бы на фронт, а фронта б никакого и не видел. Зато сейчас бы был военный доктор с чином. Стоял бы в очереди на жилье в «Красном медике», получил бы квартиру уже к лету. Такой дом отгрохали! Со всеми удобствами! Напротив комнаты своя, заметим, кухня. А в кухне – ванна! Во как можно жить! Еще и уголь для печи бесплатно возят. А ты? Опять «привет, товарищ писарь». Да еще и в ВОХРе...

– Да... Кабы не моя сентиментальность, я непременно мог бы стать героем, – усмехнулся Морской. – Но не стал. И даже медицинский, куда пошел учиться после ВОХРа, бросил. Когда ты врач, то или ежечасно играешь чьей-то жизнью, или бесполезно переключиваешь бумажки. Третьего не дано. Я слишком нервный для первого и слишком гордый для второго. И потом, я, наконец, нашел, где можно приносить пользу, ну, скажем так, безопасно. Сначала просто, заработков ради, я стал править тексты для редакций и писать в газеты. Потом, совсем вернувшись к довоенной жизни, увлекся театром. В общем, сейчас я на своем месте... – Морской поднял рюмку и мысленно сказал: «Что ж, за Ниню!» А вслух продолжил укреплять собствен-

ную оборону: – Илья Семенович, вы зря вцепились в мою биографию. Я трижды ездил за границу. Перед поездкой, вы же понимаете, меня проверяли. И я все же поехал. Значит?..

– Значит, – согласился инспектор, но тут же завелся снова: – Так что ж ты, твою дивизию, весь такой прямой и безупречный, и вдруг полез откровенным саботажем заниматься? – Горленко наконец перешел к важному: – Зачем прыгнул в яму? Зачем стал орать про убийство? Да еще и племянника моего втравил в историю, отдавши журналистке. Зла не хватает на тебя. Вот честно!

– Где ж тут саботаж? – искренне удивился Морской. – Моего друга, руководителя нашей лучшей в городе секции краеведов, портную и костюмера гражданку Толмачеву безжалостно убили. Хотите сказать, я должен был молчать?

– Конечно должен! – Илья стукнул кулаком по столу и выругался. – А если то не саботаж, а хуже? Соучастие! Я, может, тебе и поверю. Но вышестоящие товарищи с тобой водку не пили, душу ты им не открывал, про эпидемии на фронте не рассказывал, в 1918 году у товарища Межлаука вместе с ними не служил... Они в тебе однозначно пособника убийцы увидят. Иначе отчего такая осведомленность? Ты что, криминалист? Кто дал тебе право делать выводы о том, как и когда была убита жертва?

– Меня четыре года в медицинском учили, как устроен человеческий организм, – твердо ответил Морской. – Нинó была задушена. Задолго до того, как упала в оркестровую яму. Бумажный шарф не мог стать причиной удушения. Душили чем-то твердым... Эксперты подтвердят.

– Да. Подтвердили. Но ведь ты-то не эксперт! Откуда ты мог знать, например, про время? С чего ты взял, что было пять часов? – Инспектор вытянулся над столом, сверля собеседника взглядом.

«Про это умолчу», – решил Морской. А вслух опять заладил:

– Меня четыре года в медицинском...

– Аааа, хватит! – Илья нервно вскочил, но все же попытался взять себя в руки. – Ладно. Давай подробно, что, когда заметил.

Внимательно выслушав весь рассказ, Горленко снова помрачнел.

– Ты понимаешь, гад, что теперь будет? – сквозь зубы процедил он. – У нас ведь не какая-то кафешка. У нас серьезный стратегический объект. Отсюда радио вещает на всю страну. Тут не только эти твои танцуйки, но и серьезные заседания проходят. Я отвечаю тут за безопасность. И вдруг – убийство. «Спектакль сорван убийством, это вовсе не несчастный случай»! Во всех газетах! Кому это надо?

– Хм... – Морского охватила странная внутренняя дрожь. Он, кажется, нащупал логику происходящего. Такое бывало, когда он выходил на след героя для эссе или приближался к разгадке какой-нибудь харьковской тайны. – Не считите меня сумасшедшим, но я знаю, кому это надо... Это надо... Большому театру!

– Че-гоооо? – Горленко явно был ошеломлен.

– Преступник вовсе не старался представить все, как несчастный случай, – страстно заговорил Морской. – Он нарочно хотел сорвать спектакль! Нинó – ее ведь все любили безгранично – не стали б убивать из личных соображений. Тут что-то общественное. – Морской растерянно огляделся, как бы ища поддержки. – Она тут просто средство сорвать премьеру. Какой-то фанат московского Большого театра нарочно это сделал, чтобы в поединке за первую постановку «Футболиста» выиграла Москва!

– Ого! – Инспектор аж протрезвел. – Между прочим, делегация от Большого театра сейчас в Харькове... Асаф Мессерер во главе. Морской, да что же ты молчал? Это прекрасная гипотеза, поверь! – Но тут инспектор что-то осознал и скривился: – Ну, если б еще кто-нибудь другой в нее поверил, было б таки лучше...

Тут на директорском столе зазвонил телефон.

– Инспектор активного подотдела уголовного розыска ЦАУ НКВД слушает! – Горленко схватил трубку. – Что? Нет! Повторяю, не надо никого из центра! У меня все под контролем. Вот именно из-за того, что здание готовится к проведению 9 марта показательного судебного процесса над террористами из СОУ, я и считаю это своим делом. Только своим! Угрозыск тоже к черту! – Илья прикрыл трубку рукой и зашептал: – Морской, ты все же форменный вредитель! Из-за тебя теперь и ОГПУ будет путаться под ногами... – и закричал снова в трубку: – Черт с вами! Присылайте! Мои первичный осмотр уже все равно провели... Да... Как преступник ни старался организовать идеальный несчастный случай, у нас убийство. Да, мы опередили ОГПУ и все уже знаем. Да, первые были на месте. Надо в театр ходить, товарищи, чаще! Искусство способствует оперативности, да!

Тут Морской явственно увидел повод для нового сюжета. Все могло оказаться еще более закручено.

– Минуточку! А если все не так? Нинó ведь символ театра! Убийство было ритуальным... – Морской и сам не знал, сочиняет он версию для Ильи или действительно верит в то, что говорит.

– Продолжаааай!

– Нинó единственная, кто работал в театре с самого начала – с 1880 года. Она в глазах многих – сам театр. Понимаете? Ох, ну не важно. Просто вот вы сказали: скоро будет публичный процесс над недавно раскрытым СОУ – «Союзом освобождения Украины», и я понял, что если бы кто-то хотел сорвать процесс, напугать людей, посеять неразбериху, то лучший способ для этого – совершить публичное, громкое, красиво обставленное убийство, – версия и впрямь получилась стоящая. Из-за убийства станет ясно, что в театре небезопасно. Площадка оперного театра будет скомпрометирована.

– А что? – Инспектор несколько раз пьяно повторил услышанное себе под нос, а потом страшно обрадовался. – Мне это нравится! И первая гипотеза тоже хороша. С тобой приятно работать, Морской! – Инспектор хлопнул в ладони, словно аплодируя. – Имеем дело с настоящей целенаправленной атакой на театр или – вдумайся только в масштаб дела! – с атакой на сам процесс СОУ? Хм! Это перспективно! Мы еще посмотрим, кто кого! Нам еще это зачтут и припомнят!

«Неисправимый карьерист, – подумал Морской с тоской. – Ему и смерть Нинó – лишь повод отличиться», а вслух сказал:

– Рад, что вы больше меня не подозреваете. Я могу идти? Ох, если дойду, конечно...

Пошатаваясь, Морской вышел из директорского кабинета, быстро оглянулся, выпрямился и уверенно бросился в гардеробную. Кроме знания языков, было еще одно свойство, которое тоже очень помогало Морскому в работе и в жизни: он умел пить, откладывая опьянение на потом. Развязать ему язык выпивкой можно было лишь на те темы, на которые он сам не против был поговорить.

Илья Семенович Горленко в этот момент думал так: «Результат встречи можно засчитать. С вербовкой, конечно, могло бы и получше выйти, ну да ладно. Ишь, какой страхованный-перестрахованный, не зацепишься. В любом случае, он все равно рассказал мне все, что знает».

В углу кабинета горестно никли листья обреченной на смерть пальмы, в кадучку которой не желающий захмелеть Горленко то и дело незаметно переливал водку из своего стакана.

* * *

– Яков, ты его плохо знаешь! Я сейчас с ума сойду от волнения! – Двойра почти кричала. – Это такой упрямый тип! Принципиально говорит в глаза все, что думает. Его нельзя на допрос – он скажет дураку-следователю, что тот дурак. Неприятностей потом не оберешься...

Ее низкий голос гулким эхом разлетался по фойе. Облокотившись на стойку, покачиваясь и скептически скривившись, она сверлила взглядом единственное оставшееся на вешалке пальто. Пальто Морского.

– Тебя тоже никуда нельзя, любовь моя, – посмеивался Яков. – Ты так кричишь! Уже весь театр знает о твоих предположениях относительно умственных способностей следователя и о характере Морского.

Двойра очаровательно скривилась и хлопнула себя ладошкой по губам.

– И, главное, о своем характере знаю я сам. – На лестничном пролете показался Морской. – И, в соответствии с оным, скажу прямо: я очень тронут вашим беспокойством.

– Пустое, – отмахнулся Яков. – Я просто был рядом с театром, зашел глянуть одним глазком, что тут, смотрю – твое пальто. Рассказал Двойре, и они все всполошились.

– Нас вынудил искать тебя дед Хаим, – сказала Двойра таким тоном, будто самой ей не было до Морского никакого дела и будто это не она кричала, что сейчас сойдет с ума. – Пришлось опрашивать работников театра и ждать тебя у вешалки, как раньше в институте.

Морской улыбнулся, вспомнив студенческие будни. Они с Двойрой уже были женаты и, так как учились в разных группах, договаривались встречаться после занятий возле гардероба. С расписанием творилась неразбериха, и иногда приходилось ждать друг друга очень долго. Яков – одноклассник и большой друг Морского – частенько составлял приятелю компанию, и они прохаживались по коридору взад-вперед, то ведя умные беседы, то травя глупые байки. С Яковым – будущим психиатром, медиком от Бога, большевиком ленинской гвардии, прошедшим гражданскую войну и считающим своим долгом помочь обществу избавиться от ее психотравматических последствий – Морскому было интересно. Самое смешное, что потом, в 1924-м, когда Морской и Двойра разбежались по новым семьям, и уже Яков ждал ее у гардероба, Морской частенько помогал ему скрасить ожидание. И никто ни на кого не был в обиде. Двойра оказалась слишком умна, чтобы связывать жизнь «со смазливим светским журналистом», и как только обнаружила первые увлечения мужа балеринами, сразу же попросила его пойти вон из дома. Морской был слишком глуп, чтобы не воспользоваться предоставленной свободой. А годовалая Ларочка при этом была слишком прелестна, чтобы личные дела родителей могли отвлечь их от главного: совместного воспитания девочки. Вот так и повелось. Перечисляя, кто ему родня, Морской всегда упоминал родителей, Ларису, Ирину, Двойру и ее семейство. Включая Зислю, Соню и Хаима.

От вида друзей, от тепла родного пальто и от домашних воспоминаний Морской расслабился и почувствовал, что опьянение атакует.

– Скорее в машину!

Яков был за рулем. Он редко отпускал шофера и относился к вождению служебного новехонького «фиата» очень настороженно. Посмеивался, мол, автомобиль, который ему выдали из соображений безопасности, на самом деле куда более опасен, чем все потенциальные преступники. Яков заведовал экспериментальным стационаром при кафедре судебно-психиатрической медицины. В его распоряжении было всего 20 коек, но те, кто их занимал, уже пытались подослать к Якову посыльных, чтобы убедить его признать ложную невменяемость подопечного или, напротив, присвоить показаниям сумасшедшего статус правдивых.

– Садись назад, я тебя умоляю! – поморщился он. – Я захмелею от одного твоего чиха.

– А ты, чай, не чай гонял! – Двойра озабоченно покачала головой. Она, конечно, хорохорилась и говорила всегда, мол, в каких бы отношениях Морской ни был с законом, уж она-то в любом случае в выигрышной позиции. Если он напишет что-то крамольное, она, как бывшая жена, всегда может дистанцироваться и заявить, что знать его не знает, хотела б знать, не выгоняла бы. А если будет молодцом, то, как мать его дочери, может претендовать на часть лавр и орденов. Но на самом деле, конечно, Двойра волновалась. – Что было-то, расскажешь?

– Сам не пойму, – честно признался Морской. – Меня сначала пытались обвинить в сговоре с убийцей, а потом благодарили за помощь в расследовании. Ни сговора, ни помощи при этом, как вы понимаете, не было.

Еще минут пять он говорил внятно, вспоминая подробности, а потом, не в силах больше сопротивляться организму, поплыл, уткнувшись носом в кожаную спинку переднего сиденья.

– Друзья! – воскликнул он, когда уже под домом его растолкали. – Прекрасен наш союз! И, это, извините за столь позднее беспоко... безпек... бесэтосамое!

Яков проводил приятеля до двери на втором этаже и проследил, чтобы тот зашел в квартиру.

* * *

К утру метель стихла. Наволновавшись, город сладко спал, полуприкрытый снежным одеялом. Улицы столицы совершенно опустели, и светящиеся постовые-фонари смотрелись расточительно броско.

Морской – сумев еще добраться до постели и, героически бесшумно раздевшись, юркнуть под одеяло к жене, – всем сознанием провалился в тяжелую пропасть сна. Ирина тоже спала: по-детски надув губы и обиженно посапывая, смотрела сон, в котором торопилась, но точно знала, что опоздает к выходу на сцену. Спал даже Коля – на кухне у Морского, опершись лбом о руки на столе, измученный беседой с православным священником, который все же взял ночного гостя в оборот, втянув его в ругню о смысле жизни. Спала, хоть и в своей постели, но на бегу, щекой на недочтенной книжке, не раздевшись, Светлана – еще одна наша героиня, с которой читатель познакомится только в следующей главе.

Не спал один убийца.

Он думал. Ходил вдоль панорамных окон, у подножья которых красовался ненавистный город.

«Мне надо быть предельно осторожным. Пока зацепок быть у них не может, но мало ли, как дальше повернется. Убийца ль я? И речи быть не может. Он – да, а я всего лишь пострадавший. И мне сейчас же надо отдохнуть».

Он достал лекарство. Нервы были на пределе, и о том, чтобы уснуть без снотворного, мечтать опять не приходилось. В голове непрошеными и навязчивыми поэтическими ритмами носились осколки мыслей.

«Я дома отосплюсь! Когда все это сгинет. Когда я снова буду сам собою! О, только б хоть когда-то получилось! Когда ты ненавидишь окружение, то смысл охоты сводится к финалу. А мой финал испорчен идиотом. Тут что ни человек, всегда пропащий. О, пусть же все закончится скорее!»

Больше всего на свете – до учащенного сердцебиения, до боли в животе и рези в глазах, он хотел, чтобы задача наконец была выполнена, и можно было забыть о ненавистной чужой роли в раздражающем чужом городе среди нелепых чужих людей.

А еще он хотел отомстить. По справедливости желая врагу не смерти или увечий, а вполне заслуженного – если присмотреться, то нынче каждый заслужил! – заключения или хотя бы задержания и позора. И, как ни странно, ошибка одного дегенерата дала возможность воплощению мести.

5

Месті полы в цехах. Глава, в которой все знакомятся со Светой



Утро, как обычно, началось с далекого, но настойчивого хора заводских гудков. Светлана похлопала глазами, резко оторвала голову от подушки, с удивлением глянула на обложку книжки, к которой секунду назад нежно прижималась щекой. Как можно было уснуть, не дочитав?

Разноголосье гудков завершилось мощным басом Харьковского паровозостроительного завода. ХПЗ рычит в семь. Караул! Дел нужно сделать – тучу, а времени до работы совсем не осталось!

Необходимость растрчивать почти треть жизни на сон казалась Светлане ужасно несправедливой. В борьбе с этим она читала, пока добросовестный уличный фонарь светил ей в подушку или пока глаза сами не закрывались, окончательно отказываясь что-либо видеть. А утром, естественно, она спала аж до гудков, не реагируя ни на рассвет, ни на просыпающихся в рабочие дни очень рано девочек, с которыми жила в одной комнате.

Не снимая с себя одеяла – печка уже почти остыла, и в комнате гулял холодок, – Света, стараясь не скрипеть досками пола, пробралась в студёный коридор, распахнула свою часть шкафа, набрала вещей на сегодня и шмыгнула в ванную переодеваться. Зеркало демонстрировало розовощекую – розового немного, а вот щек куда больше – сонную физиономию с прищуром крота, небольшим вздернутым носом и светло-желтой растрепавшейся за ночь косой. Света покрутила водопроводный кран и послушала отдаленное гудение в трубах. Ничего, скоро напор починится, ведь девочки уже написали куда следует, чтобы квартиру поставили в очередь на вызов мастера! Света побрызгала в лицо ледяной водой из ведра, и глаза на глазах начали раскрываться, превращаясь в привычные синие кругляшки с окантовкой из белых пушистых ресниц. Это забредшее вдруг в мысли «глаза на глазах» получилось ужасно смеш-

ным. Света улыбнулась, окончательно проснулась и помчалась собираться, чтобы с пользой прожить этот новый и наверняка чудесный день.

«Восемь уже скоро!» – ахнула она, на бегу задрала голову вверх и отыскав глазами знаменитые золотистые стрелки часов. Далеко в «верхнем центре», в самом начале Чернышевской улицы на причудливой башне лютеранской церкви красовались часы, по которым жители «нижнего центра» сверяли время. Библиотека имени Короленко, в которой вот уже неделю работала Света, тоже находилась в «верхнем центре». Вроде и совсем рядом, а поди дойди по нечищеному склону, занесенному снегом, раскуроченным утренними санями извозчиков и шинами авто. Опаздывать нельзя, а до работы надо еще заскочить в Церабкоп за керосином, вернуться домой, не разбудить хозяйку, но разбудить девочек (так совпало, что у обеих по плавающему графику пятидневки этот понедельник оказался выходным, но не спать же весь день!) и умчаться на работу.

К счастью, сегодня Свете везло на каждом шагу. Обычно Церабкоп – это только на словах он «Центральный рабочий кооператив», а на деле самая что ни на есть захолустная мешанская лавочка с сонными мухами вместо продавщиц – отхватывал как минимум час времени, но сегодня обошлось в два раза быстрее. И девочки сегодня тоже не подвели, были готовы вставать как миленькие, после первой же «Взвейтесь кострами, синие ночи!», которую пропела Света, сообразив, что зловредной хозяйки нет дома.

Кстати, хозяйкой Зловредина звалась лишь по старой памяти. На деле никакой хозяйкой она Свете и девочкам не была. Просто когда-то давно Зловредине принадлежало целых полдома. Потом в две комнаты она пустила жить квартирантов. Сейчас, когда Свету, Оленьку и Шурасю – трех веселых восемнадцатилетних подружек, окончивших курсы секретарей-машинисток и распределенных уже по предприятиям, – вселили в угловую комнату дома, «хозяйка» по привычке стала требовать оплату. Света, честно сказать, растерялась, а девочки – умницы!

– Шиш ей, а не барыш! – постановила Шурася и отправила улыбчивую Оленьку в горсовет жаловаться в секцию коммунального хозяйства председателке жилищной комиссии Марии Александровне. Удивительная эта председателка – хмурая дама необъятных форм с седыми волосами, собранными на макушке в умопомрачительный кокон, – вместо того, чтобы спустить дело домоуправлению или профсоюзу трудящейся молодежи, взялась разобраться лично. Честно говоря, это было правильно: именно она выдала девочкам ордер на вселение в комнату на углу Черноглазовской и Девичьей, значит, ей и надлежало уgomонить хозяйку. Зловредина, естественно, происходящему не обрадовалась, пыталась стоять на своем, говорила – кстати, оказалось, что не врала, – мол, купила когда-то эти полдома за свои честно заработанные средства, и, мол, уже после революции сам знаменитый писатель Юрий Олеша жил в этой комнате и за постой платил деньги. А писатель, как известно, человек, новым законам обученный, значит, по его примеру и «эти три пигалицы» тоже должны платить. Но председателка Мария Александровна была непреклонна. «Раньше – то раньше, а сейчас – то сейчас!» – авторитетно заявила она и намекнула, мол, по нынешним нормам у хозяйки и так перебор с комнатами. Старые дома, выделенные профсоюзам, пришли в негодность, из них жители бегут вместе со всеми тараканами; в общежитиях молодых специалистов мест уже нет; новые дома и рабочие поселки еще не достроили. Поэтому издан указ о повторном уплотнении. Чем жировать одной в трех комнатах, пусть хозяйка по-хорошему уступит одну девочкам. Иначе и под суд можно пойти. Сейчас чернорабочих не хватает, и получивших административные взыскания все чаще отправляют мести полы в цехах. Зловредина смирилась, но при каждом удобном случае старалась испортить девочкам настроение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.